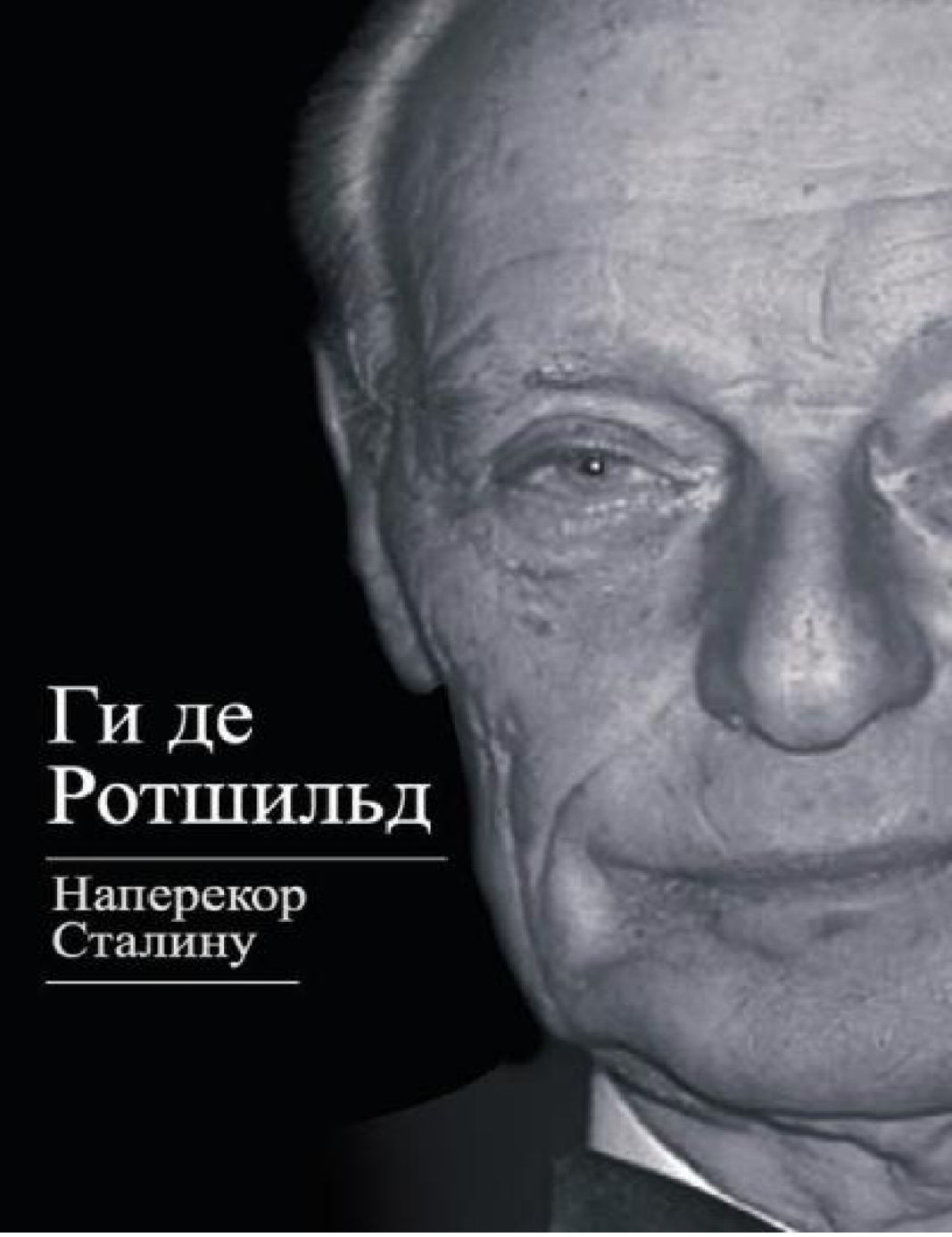

Ги де Ротшильд

Наперекор Сталину

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Автор этой книги барон Ги де Ротшильд - банкир, член финансовой династии Ротшильдов. Он был председателем совета директоров банка de Rothschild Freres, владел имуществом в других французских и иностранных компаниях.

Многие считают, что Ротшильды и сегодня правят миром, оставаясь одной из самых могущественных финансовых групп (ее общее состояние в 2012 году оценивалось в размере 1,7 триллиона долларов). Так ли это, на чем основывается богатство Ротшильдов, как они ведут дела, какова их роль в международной политике, как складывается их личная жизнь? И, конечно, причем здесь советский вождь Иосиф Сталин?

Обо всем этом Ги де Ротшильд рассказывает в своей книге. Сразу после своего выхода она стала бестселлером на Западе, а теперь доступна русскоязычному читателю.

- Ги де Ротшильд
- Вместо предисловия
- Мой отец и моя мать
- Дом Ротшильдов
- Кризис и «конец света»
- Закон о статусе евреев
- Бегство в Америку
- На грани гибели
- «Свободная Франция»
- Возрождение банка Ротшильдов
- Железо и нефть
- Новый «Банк Ротшильдов»
- Политик «из конюшни Ротшильдов»
- Революция 1968 года
- Наша транснациональная корпорация
- «Прощай, Ротшильд!»
- Дела семейные
- Вместо заключения

Ги де Ротшильд
Наперекор Сталину

Вместо предисловия
Семья Ротшильдов

Династия Ротшильдов, известная также как Дом Ротшильдов, ведет свое начало с Майера Амшеля Ротшильда (1744-1812). Фамилия происходит от внешнего вида эмблемы ювелирной мастерской, принадлежавшей Анхелю Мозесу Бауэру (отцу Майера Амшеля Ротшильда), эмблема мастерской представляла собой изображение золотого римского орла на красном щите. Со временем мастерскую так и стали называть «Красный щит». Позже его сын взял себе фамилию по названию мастерской «Красный щит» или «Rotschield».

Родившись в еврейском квартале между городской стеной и рвом, Майер Амшель построил банковский бизнес и расширил свою империю, послав пять своих сыновей в европейские столицы. Имея сыновей, рассеянных по всей Европе, каждый из которых стоял во главе банкирского дома, семья Ротшильдов с легкостью могла убедить любое правительство, что ему следует продолжать выплачивать долги, иначе против страны должника будет применена сила в соответствии с «политикой силового равновесия».

Братья могли финансировать обоих участников конфликта, тем самым обеспечивая себе не только выплату долгов должником, но и создание огромных состояний финансированием войны.

В то же время Майер Ротшильд создал новый тип международной фирмы, который был защищен от антисемитских бунтов. В 1819 году, как будто для демонстрации того, что недавно приобретенные еврейские права до сих пор иллюзорны, антисемитское насилие вспыхнуло во многих частях Германии. Эти погромы включали в себя и штурм дома Ротшильдов во Франкфурте. Это ничего не изменило, так же как и последующая атака во время революции 1848 года.

* * *

Существенной частью стратегии Майера Ротшильда для будущего успеха было сохранение контроля над бизнесом в руках династии, позволяя ее членам поддерживать полную свободу действий как в размере богатств, так и в их деловых достижениях.

В 1906 году еврейская энциклопедия отметила: «Инициированная Ротшильдом практика учреждения нескольких отделений фирмы, управляемых братьями, в различных финансовых центрах была перенята другими еврейскими

финансистами, такими как Bischoffsheims, Pereires, Seligmans, Lazards и другие, и эти финансисты, посредством их надежности и финансового опыта, получили доверие не только от еврейских собратьев, но и от всего финансового сообщества в целом. Тем самым еврейские финансисты получили увеличенную долю в международных финансах в течение середины и последней четверти XIX века. Эта практика подражает royal and aristocratic technique *(англ.)* (члены одной королевской семьи женятся на членах другой королевской семьи), которая также позже была скопирована другими династиями предпринимателей, например, такой, как династия Дюпонов».

Майер Ротшильд успешно сохранил богатство внутри семьи, тщательно организуя браки по расчету, включая браки между двоюродными и троюродными родственниками (чтобы накопленное имущество осталось внутри семьи и служило общему делу), хотя в конце XIX века почти все Ротшильды начали заключать браки за пределами семьи, обычно с семьями аристократов или других финансовых династий.

* * *

К началу Наполеоновских войн (1803-1815) Ротшильды уже обладали значительным богатством, и сын Майера Ротшильда - Натан Майер Ротшильд добился значительного преимущества в торговле слитками золота. Находясь в Лондоне в период с 1813 по 1815 год, он финансировал перевозку слитков золота для армии герцога Веллингтона, пересекавшей Европу, также как организовывал оплату британских субсидий для континентальных союзников. В 1815 году Ротшильд в одиночку выдал заем британским континентальным союзникам в суммарном размере £9,8 миллиона (в ценах 1815 года).

Братья координировали деловую активность Ротшильдов по всему континенту, и семья развила сеть из агентов, поставщиков и курьеров для транспортировки золота. Семейная сеть также обеспечивала Натана Ротшильда политической и финансовой информацией раньше всех, давая ему преимущества времени на финансовых рынках, тем самым делая дом Ротшильдов еще более неоценимым для британского правительства.

В 1817 году Ротшильды получили дворянство, а в 1822 году - баронский титул и теперь использовали фамильную приставку «де» или «фон» (в немецком варианте) как указание на аристократическое происхождение. Их герб был украшен девизом: Concordia. Integritas. Industria (Согласие. Честность.Трудолюбие).

* * *

Возведение в дворянство изменило стиль жизни Ротшильдов. Они приобрели роскошные дворцы, стали давать великолепные

обеды, на которые съезжались представители аристократических кругов многих стран. К концу XIX века семья Ротшильдов обладала, по наименьшей оценке, более 40 дворцами, соизмеримыми или даже превосходящими по роскоши дворцы богатейших королевских семейств.

Когда в начале Второй мировой войны австрийские и французские Ротшильды были вынуждены эмигрировать в США, все их дворцы, отличавшиеся исключительными размерами, огромными коллекциями картин, доспехов, гобеленов и статуй, были конфискованы и разграблены нацистами. В 1999 году правительство Австрии согласилось вернуть Ротшильдам ряд дворцов и 250 предметов искусства, конфискованных нацистами и отданных в государственный музей.

Но даже войдя в аристократическую элиту Европы, Ротшильды всегда помнили о своих еврейских корнях, - семейные архивы Ротшильдов говорят, что в течение всего лишь одного десятилетия 1870-х годов семья жертвовала около 500 000 франков ежегодно от лица восточных евреев для Всемирного еврейского союза (Alliance Israelite Universelle).

Барон Эдмон Джеймс де Ротшильд был главой первого поселения в Палестине в Ришон-ле-Цион - он выкупил у оттоманского землевладельца часть земель, которые в настоящее время составляют Израиль. В Тель-Авиве есть улица, названная в честь Эдмона де Ротшильда - Rothschild Boulevard, - так же как и во многих других районах Израиля, где он помогал со строительством: в Метуле, Зихрон-Яакове и Рош-Пинне.

Ротшильды сыграли значительную роль в установлении инфраструктуры израильского правительства. Джеймс финансировал строительство Кнессета в качестве подарка еврейскому государству, а здание Верховного Суда Израиля было подарено Израилю Дороти де Ротшильд.

* * *

Многие считают, что Ротшильды и сегодня правят миром, оставаясь одной из самых могущественных финансовых групп. Общее состояние группы в 2012 г. оценивали в 1,7 триллиона долларов.

По словам английской газеты The Daily Telegraph: «Эта международная банковская династия является символом богатства, власти - и свободы действий. Имя Ротшильдов стало синонимом власти и денег такой величины, которой больше нет ни у какой другой династии».

А в свое время Майер Ротшильд так подвел итог своей стратегии: «Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто создает ее законы»...

По материалам Ральфа Эпперсона и публикаций во Всемирной электронной энциклопедии

Мой отец и моя мать

Мой отец, Эдуард де Ротшильд, был на шестнадцать лет старше моей матери. Высокий, стройный, с тонкими правильными чертами лица, с орлиным профилем, он отличался какой-то особой, лишь ему присущей элегантностью. И это не относилось только к его одежде, хотя здесь уж он был педантом и не расставался с крахмальными воротничками никогда, исключения составляли лишь охота и игра в гольф. Его манеру одеваться нельзя было охарактеризовать однозначно - он не был ни старомодным, ни франтом: представить себе его стиль в одежде можно, подчеркнув, что это было некое особое сочетание оригинальности, простоты и традиционности, составлявшее в конечном итоге его особый «шик», присущий только ему и не имевший в основе ничего смешного, обязательного или формального. Так, например, из уважения к традиции он продолжал председательствовать на общем собрании «Компани дю Нор», будучи облаченным в старомодный редингот, который не носили с конца XIX века!

Он сохранял также свои привычки, которые для тех, кто его не знал, могли показаться его дурачествами и желанием выделиться. Единственный, он разъезжал по Парижу до середины 30-х годов на старом электромобиле, этом доисторическом монстре, напоминавшем большое не запряженное ландо: шофер сидел в нем, как кучер на козлах, и перед ним не было ничего.

Одной из наиболее примечательных черт моего отца была его спиритическая способность проникновения в природу вещей и явлений. Так, он мог, к примеру, представив себе обожаемого им Наполеона I, вступить с ним в воображаемую беседу и невозмутимо произнести: «Наполеон мне сказал, что....»

Что же касается кардинальных жизненных вопросов, таких как честь семьи, защищать которую он считал своим долгом, или борьба с антисемитизмом, то в этих вопросах он был непоколебим, честь была для него первой заповедью.

Пару раз, оскорбленный антисемитами, он дрался на дуэли, к счастью, без последствий...

Я никогда не задавал отцу вопросов о том, какова его роль в банке на улице Лаффит, не имел понятия о том, что там происходит и что он там делает. Это полное отсутствие информации могло показаться даже подозрительным, но, с другой стороны, если бы что-то произошло, мы все равно узнали бы об этом хотя бы по каким-то обрывочным слухам. Как бы то ни было, моему изумлению не было предела, когда, пройдя военную

службу, я пришел работать в банк и увидел там отца совсем другим, не таким, каким он был дома. Он часто гневался на своих сотрудников, хотя их исполнительность была несомненной, отсутствие собственной инициативы в делах - очевидным, а покорность отцу - полной. Но все равно он опасался того, что даже при такой пассивности сотрудников где-то да проскользнет какая-то не согласованная с ним инициатива, что будет что-то сказано или сделано вопреки ему или в дела вкрадется какая-нибудь ошибка, последствия которой навек скомпрометируют «Дом Ротшильдов». Такая позиция отражала, без сомнения, его собственную внутреннюю борьбу между сознанием необходимости действовать и страхом ошибиться. Я чувствовал себя неловко от такого поведения отца и принял раз и навсегда решение полагаться в жизни прежде всего на себя самого.

Со мной отец на работе и дома неизменно оставался таким, каким я его всегда знал, нежным и приветливым, и я постепенно привык к тому, что в нем уживаются как бы два разных человека: деловой человек, который всегда начеку, и отец, терпеливый и великодушный.

После молниеносно проигранной кампании 1940 года я нашел в эмиграции в Америке уже совсем пожилого человека, в том возрасте, когда бессмысленно упрекать за прошлые слабости. Оставаясь непоколебимым в своем видении мира отец, после возвращения во Францию становился день ото дня все более рассеянным и мечтательным. Видно было, что ему все труднее становится бороться со старческими недугами. Умер он в 1949 году в возрасте восьмидесяти одного года.

* * *

Моя мать, Жермена Альфен, происходила из состоятельной буржуазной семьи французских евреев. Черноглазая брюнетка, она имела некоторую тенденцию к полноте и поэтому всю жизнь ограничивала себя в еде. Она не была мечтательницей и твердо стояла обеими своими ножками на земле. Она была по природе практична и твердо держала бразды правления всем нашим хозяйством в своих руках.

Для моих сестер и для меня авторитетом и воплощением родительской воли была в первую очередь мать. Она была властной по природе и стремилась навязать нам свое видение мира. Даже в лицее *я* не получил той свободы, которой обычно пользуются лицеисты. Моя мать, например, в императивной форме, не допускавшей никаких возражений, требовала, чтобы ни при каких обстоятельствах *я* не ходил в лицей один. Мало того, что меня отвозили на машине, меня еще сопровождал «выездной лакей». В полдень, когда я возвращался из лицея пешком,

выполняя ежедневные «упражнения для ног» - моцион, предписанный мне матерью, - тот же самый лакей приходил за мной, а потом, после второго завтрака, провожал меня обратно в лицей! Странная навязчивая идея моей матери - встречать и провожать меня - объяснилась для меня только через десятки лет, когда я задал ей вопрос о причинах этой непонятной тревоги:

- Ну сейчас, наконец, можешь сказать мне, чего ты все-таки боялась? - спросил я.

И она ответила мне с наивной прямотой, немного смутившись:

- Да, конечно, я боялась, что тебя могут изнасиловать!

Я вспоминаю еще об одной «идее-фикс» моей матери, рожденной, без сомнения, из тех же опасений. Однажды, когда мне было лет десять-двенадцать, я пошел на каток один. Когда я вернулся, мама спросила меня: «Скажи, ты там не познакомился с какими-нибудь дамами? Ведь ты понимаешь, что они могли и не знать того, что ты еще совсем мальчик!».

Лишь достигнув восемнадцатилетнего возраста и став взрослым и независимым в глазах моей матери, я смог наладить непринужденные отношения с ней, но мои сестры всю жизнь продолжали страдать от ее постоянной опеки. И хотя основным мотивом в ее отношениях с дочерьми была забота о них, там были и другие подсознательные мотивы: через дочерей она хотела реализовать то, чего ей самой в жизни не хватало, а не хватало ей легкости и непринужденности существования, окруженности миром художников и музыкантов.

По правде говоря, в течение всех 30-х годов в окружении моих родителей было немало художников и музыкантов. Альфред Корто, Яша Хейфец, Иегуди Менухин, Владимир Горовиц часто посещали наш дом. Близким другом семьи был Артур Рубинштейн. Бойкий молодой человек, живший в маленьком домике на улице Равиньян на Монмартре - он казался заядлым холостяком, пока не привез из Польши красавицу Неллу. Много лет спустя их дети продолжали регулярно посещать мою мать. Еще совсем недавно моя жена и я слушали с упоением бесконечные истории из жизни Артура, которые буквально сыпались из него и которые он рассказывал так выразительно и с таким юмором, что нельзя было не подпасть под его неизменное обаяние.

Мама скрупулезно исполняла все обязанности светской жизни: писать, отвечать, составлять списки приглашенных, приглашать, принимать, выезжать. Для человека просвещенного, свободного от условностей, сознательно приверженного моральным ценностям, она была как-то странно зависима от той

роли, которую она, по ее понятиям, должна была играть в обществе. Она принимала с присущей ей элегантностью в льстящей ей обстановке, среди богатейших коллекций предметов искусства и старины, собранных нашей семьей, и хоть она и старалась не показывать этого, чувствовалось, что ей это льстит.

Если она вдруг чувствовала, что ее роли королевы-матери что-то угрожает или просто опасалась даже такой возможности, то могла стать агрессивной. Когда моя жена и я, после реставрации, вновь открыли двери замка Феррьер и давали там свой первый прием, я вдруг услышал от матери, меж двух улыбок вежливости, ворчливые замечания с критикой по поводу вкуса реставрационных работ, проведенных без ее участия. Все, что ускользало от ее бдительного внимания, вызывало в ней плохо скрываемое раздражение, легко объяснимое с учетом ее властной натуры.

Не будучи в полном смысле так называемой «интеллектуалкой», она была открыта для самых разных знаний. Вечная ученица, прилежная и внимательная, она принимала у себя разных «гуру» от философии, живописи, музыки. Увлекшись учением какого-нибудь очередного гуру, она всякий раз теряла критическое начало и свято верила каждому его слову. Учиться и познавать новое было для нее всегда удовольствием. В молодости она попробовала свои силы в пении, но безуспешно. А в восемьдесят лет она решила брать уроки плавания!

Она много читала, особенно с тех пор, как овдовела и стала чаще оставаться дома одна. Больше всего она любила читать классиков литературы или книги по детской психологии.

Она написала две книги, одну - о жизни Бернара Палисси, иллюстрированную его лучшими работами из коллекции моего отца, другую, по совету своего зятя Гриши Пятигорского, - о Луиджи Боккерини. (Гриша, большой весельчак, говоривший всю жизнь с заметным русским акцентом, потерял свою семью на родине, в России. Он обрел в нас новую семью, называл нашу маму *Бабушка* — так впоследствии стали называть ее и мои дети. Гриша предпочитал жить в Америке; они с моей сестрой Жаклин обосновались в Лос-Анджелесе.)

Наша мама, любимая и уважаемая в обществе за элегантность манер, за великодушие в дружбе и за безупречное поведение, - эта гранд-дама умерла в возрасте девяноста одного года, после четырех лет тяжелой болезни.

* * *

Сегодня это может показаться удивительным, но меня нисколько не волновало то, что *я* был сыном Ротшильда.

Причиной этого был иной, нежели сегодня, менталитет, ибо

тогда быть богатым и иметь деньги не было зазорно. Богатые строили замки, покупали предметы искусства и старины, словом, жили на широкую ногу и не боялись казаться тем, кем были, - богатыми людьми. Они не чувствовали себя виноватыми, ибо никто и не думал осуждать их лишь за то, что они богаты.

Социальные различия между людьми в то время были гораздо более ощутимы, нежели сегодня, но я их гораздо меньше ощущал, потому что общественные иерархии выстраивались тогда не только и не столько по денежным меркам. Во времена, когда царило относительное спокойствие, каждый инстинктивно стремился занять ту социальную нишу, которая была ему ближе всего. «Светские люди», например, - никто не вкладывал тогда в это выражение того фривольного оттенка, какой оно приобрело сегодня, - осознавали свою привилегированность, стремились быть более «воспитанными», более «изысканными», более «рафинированными». И поэтому даже сам миф о Ротшильдах, в котором соединились деньги, роскошь и власть, представлялся несколько иным, нежели сегодня.

Уже моим детям в лицее или в университете приходилось слышать нечто такое на этот счет, о чем мне не доводилось слыхивать. Да и по правде говоря, мне тоже не суждено было вечно пребывать в неведении по поводу своей привилегированности. Настал день, когда *я* вдруг понял, что мои отец и мать - король и королева этого небольшого привилегированного мира. Я вдруг увидел в новом свете элегантность моего отца, туалеты моей матери, их экипажи и выезды, эту толпу людей, которые зависели от них, крутились вокруг них, всю эту роскошь, которой дышала их жизнь.

Когда я переступил через порог своего восемнадцатилетия, мне открылся новый мир - мир светской жизни. Я никогда не забуду первого большого обеда, который давали мои родители и на котором мне было дозволено присутствовать. Почетным гостем был Раймон Пуанкаре, а всего, как обычно, было около сорока приглашенных.

Когда мне на глаза попались меню наших обедов тех времен, я не поверил своим глазам: начинали двумя супами - одним прозрачным и другим - протертым; на закуску - яйца или рыба; потом дичь - куропатка, фазан или заяц; затем - жаркое с соусами и овощами, и это не считая холодных мясных закусок и салатов! Наконец, два сладких блюда, потом сыры и фрукты. Вина, красные и белые, бордо и бургундское, шампанское, крымские вина, не говоря об аперитивах, всегда подавались в изобилии.

Во фраке и белом галстуке я должен был, как и все остальные приглашенные на обед мужчины, вести свою соседку по столу в

обеденную залу, предложив ей левую руку. Но в этот момент я забыл, какую руку я должен подать своей даме. Меня охватила паника, и я стал озираться по сторонам, ища глазами маму. Она сразу поняла меня и раскрыла мне один маленький секрет: подавая даме руку, помни о том, что твоя правая рука всегда должна быть свободной, чтобы в любой момент ты, как кавалер, мог обнажить свою шпагу, чтобы защитить слабую женщину!..

В тот момент, когда бывший Президент Республики уводил мою бедную «беззащитную» мамочку в обеденную залу, полностью игнорируя ее «секрет», она склонилась ко мне и прошептала: «I would like to be elsewhere» - «Я предпочла бы сейчас оказаться не на этом месте». Да, воистину робость не была основной чертой ее характера!..

* * *

Из всех материнских уроков я лучше всего усвоил урок скромности. В конце 1980 года один американский журналист бросил с юмором камешек в мой огород. Я только что дал пресс-конференцию в Нью-Йорке по поводу ходатайства «Joint Distribution Committee», на которой мне был задан вопрос о проблемах евреев во Франции. По этому случаю я не преминул заметить, что меня уже несколько раз переизбирали на новые сроки президентом «Объединенного фонда социальной поддержки евреев» со значительным перевесом голосов по отношению к другим кандидатам. На следующий день, просматривая газеты, я наткнулся на насмешливый комментарий: «Ротшильду присуща скромная манера говорить нескромные вещи».

Сегодня я размышляю о своем воспитании совсем не для того, чтобы судить моих родителей. Они были более, чем внимательны, и наше благополучие, счастье, здоровье были для них превыше всего; они были нашей лучшей опорой, их любовь и нежность к нам были безграничны. Они направляли нас в учебе, следили за нашим физическим развитием, они развивали в нас морально- этические, религиозные и гражданские начала в меру своего понимания вещей.

Но у всякой медали есть оборотная сторона. Часто там, где следовало быть строгими, они были снисходительны, а там, где нужна была суровость, они были слишком либеральны.

Вместо того, чтобы заставлять нас не просто ждать от них подарки, но уметь заслуживать их, родители испортили нас до крайности, избаловав нас.

В отличие от многих, *я* никогда не испытываю ностальгии по своему детству. И если даже иногда мне доводится сожалеть об ушедшей молодости, то лишь потому, что мне хотелось бы

многое начать сначала, и сделать это лучше, чем я сумел раньше. Но я всегда с ужасом отбрасываю от себя даже мысль о том, что вновь окажусь в своем детстве, и это несмотря на праздники и все то волшебное великолепие, которое я храню в уголках своей памяти. Должен сказать, что прекрасные стихи Райнера Марии Рильке: «О, почему я не дитя, хотел бы стать им снова я.» - звучат всегда для меня несколько странно.

Дом Ротшильдов

В 1931 году я переступил порог здания номер 19 на улице Лаффит - я пришел работать к «Братьям Ротшильдам».

Банк был акционерным обществом, действовавшим от имени коллективного юридического лица; его совладельцами были, помимо моего отца, два моих дяди, Эдмон и Робер. Основанный в 1817 году моим прадедом Джеймсом, банк был изначально французским отделением того европейского Дома Ротшильдов, который основал Майер Амшель и его пятеро сыновей, «франкфуртцев». Давно уже прекратили свое существование неаполитанское и франкфуртское отделения, было близко к краху и венское отделение, что объяснялось глубоким затяжным кризисом в Центральной Европе. И только лондонское и парижское отделения Дома Ротшильдов имели прочное положение.

Рождение и удивительный взлет Дома Ротшильдов в XIX веке были уже для моих современников не более чем легендой прошлого. Огромное состояние моей семьи, созданное благодаря исключительной успешности финансовых операций моих предков, вошло в пословицу и навеки стало связанным с самим именем Ротшильдов. Эта легендарность имени оставляла в тени те реальные усилия, которые были вложены в дело Ротшильдов поколениями их дедов и отцов. Как всегда, за деревьями леса не видать. Но я вырос в этом «серале», и, конечно, гораздо лучше мог представить себе, что же составило величие и репутацию моего прадеда Джеймса и его сына, моего деда, Альфонса.

Вопреки легенде, состояние Ротшильдов отнюдь не связано с разгромом Наполеона. Действительно, начиная с 1815 года Джеймс помогал Виллелю, премьер-министру Людовика XVIII, собрать деньги на знаменитый «миллиард для эмигрантов», заем, предназначенный частично компенсировать им тот ущерб, который был нанесен в результате грабежей и конфискаций в эпоху Революции. Но звездный час Джеймса настал в 1818 году, когда Франция подписала конвенцию с Австрией, Пруссией, Россией и Англией, согласно которой она принимала на себя обязательства по выплате ущерба физическим и юридическим лицам, пострадавшим от Наполеоновских войн. Общая сумма выплат должна была составить 240 800 000 франков (примерно 26 миллиардов французских франков 1982 года). Джеймс в ту пору был еще молод - ему было всего двадцать шесть лет, к тому же он тогда только что приехал жить во Францию. Но он взял на себя размещение заемных средств, необходимых французскому

правительству для выполнения подписанной конвенции. Он предложил правительству условия куда более выгодные, нежели те, которые пытался навязать Франции финансист Лаффит. Благодаря Джеймсу, Виллелю удалось, начиная с 1823 года, осуществить весьма выгодную конверсию этого займа, за что он публично в самых хвалебных словах благодарил Джеймса.

Благодаря этому успеху, неутомимой деятельности и незапятнанной репутации, Джеймс фактически обеспечил себе положение монополиста в области крупных европейских государственных займов, общая сумма которых исчисляется двенадцатью миллиардами золотых франков, прошедших через руки Джеймса за всю его профессиональную деятельность.

Джеймс не забывал и о том, что во Франкфурте в XVIII веке его отец и все его предки были коммерсантами еще до того, как стать финансистами, и он не упускал случая продолжить их традицию. Он приобрел месторождения ртути в Альмадене, в Испании; он послал своих агентов в Калифорнию и в Мексику закупать драгоценные металлы, необходимые для выплавки европейских монет. Более того, он организовал чеканку монет по заказам ряда государств, таких как Пьемонт и Королевство обеих Сицилии. Он организовал закупку хлопка в Новом Орлеане, перепродавая его в Гавре. На Кубу, в Пуэрто-Рико и в Манилу он посылал своих агентов для закупки табака, который затем продавал различным европейским правительствам...

Как и большинство деловых людей, Джеймс предпочитал держать бразды правления в своих руках, контролировать все звенья в цепи своих дел. Он стал судовладельцем, чтобы его же суда возили его товары - среди судов его флота был трехмачтовик «Феррьер», один из самых красивых и современных для той эпохи кораблей французского торгового флота.

Что же касается промышленной сферы, то здесь Джеймс тяготел к операциям «повышенного риска». Он взял на себя смелость поддержать инициативу молодого человека, Эмиля Перейре, служившего в банке в качестве «маклера по операциям с ценными бумагами за границей». Страстный сторонник строительства железной дороги из Парижа в Сен-Жермен, он сумел убедить Джеймса в целесообразности этого проекта, и настолько, что Джеймс впоследствии всегда выступал за это новое тогда средство передвижения. Это была эпоха, когда многие еще смотрели на изобретателей железной дороги как на изобретателей «забавной игрушки», когда многие инженеры и ученые (взять хотя бы Араго) заявляли, что пассажиры железнодорожных поездов будут задыхаться в туннелях, и когда Тьер отверг с парламентской трибуны этот проект, казавшийся

ему опасным и нереальным. Но Джеймс решил не отступать и сделал смелый, новаторский для того времени ход: он создал для строительства и эксплуатации железной дороги «Компани дю Нор», вложив в нее в основном свой капитал; до самой смерти он оставался председателем совета директоров компании и определял ее финансовую, промышленную и социальную политику.

Его щедрость очень скоро вошла в пословицу, и, как очень метко выразился Прево-Пародоль, «милосердие и благотворительность Джеймса достойны его состояния». Он не мог оставаться равнодушным к чужому горю. Он признавался, что, ложась вечером в постель, не может заснуть, если знает, что не помог в беде тому, кому мог бы помочь. Так, в 1847 году во Франции случился неурожайный год, и цена пшеницы возросла неимоверно. Тогда Джеймс скупил на бирже все долговые бумаги с гарантиями российского правительства, которые только сумел найти, и предложил царю обменять их на пшеницу и на облигацию в пятьдесят миллионов франков, помещенную на депозит «Банк де Франс». Эта операция была чрезвычайно выгодна для России, и царь Николай I ее немедленно принял. Тогда Джеймс собрал всех торговцев пшеницей и предложил им постепенно снижать цены, получая от него доплату в виде компенсации. Когда Джеймс умер, газеты написали, что в конечном итоге он потерял на этой операции одиннадцать миллионов, но заработал тринадцать.

* * *

Джеймс всю жизнь прожил в вере своих предков и неукоснительно защищал своих единоверцев. Он сумел добиться отмены пошлины, которой облагались евреи при пересечении границ немецких княжеств внутри Германии. Он сам в ранней молодости переживал неоднократно этот позор, и впоследствии говорил об этой пошлине, что «она была куда более унизительной для тех, кто ее ввел, нежели для тех, кто от нее страдал».

Чувство семейной солидарности было в нем чрезвычайно развито. Он взял его себе за правило и сделал *согласие* в семье и в делах первой заповедью для Ротшильдов. Не случайно в девизе Ротшильдов «Concordia, Integritas, Industria» («Согласие, Честность, Трудолюбие») слово «согласие» стоит на первом месте не только по алфавиту, но и по сути. Вместе со своим братом Соломоном Джеймс любил вспоминать о том, как старый Майер призвал к своему смертному одру своих детей, пять сыновей и пять дочерей и сказал им:

«Мой отец, прежде чем благословить нас перед смертью, наказал нам жить по Божьему закону и считать всех людей

братьями. Он призвал нас делать людям на Земле добро по мере наших сил, без различия их веры и обычаев. Он взял с нас клятву, что мы будем жить в мире и согласии и все вместе продолжим созданное им дело. Он напомнил нам известную притчу о вожде скифов, который на своем смертном одре призвал к себе своих сыновей и показал им колчан, набитый стрелами, предложив сломать пучок плотно связанных стрел. Каждый из сыновей попытался сломать пучок стрел, и ни одному это не удалось. Тогда отец рассыпал пучок и показал сыновьям, как просто сломать одну стрелу за другой. «Так и вы, до тех пор, пока вы будете вместе, вы будете сильны, а в день, когда вы расстанетесь и отдалитесь друг от друга, наступит конец вашему благополучию и процветанию». (Джеймс впоследствии включил в свой баронский герб пять стрел. Эти пять стрел стали эмблемой «Банка Ротшильдов» вплоть до национализации в 1968 году.)

Прочность связей между Джеймсом и его четырьмя братьями была нерушимой. Известно, сколь тесно сотрудничали пять европейских отделений банка Ротшильдов (курьерская служба Джеймса была самой быстрой и оперативной во всей Европе; его служба информации считалась самой эффективной. Но это не мешало братьям-банкирам соблюдать все меры предосторожности: письма писались на иврите и (в пути может всякое случиться!) никогда не подписывались.

Джеймс умер в 1868 году. Десять тысяч человек, от сильных мира сего до простых смертных, провожали его в последний путь. Люди шли за гробом, похоронный кортеж растянулся на два километра, парализовав на два часа движение по бульварам Парижа. Напечатанные в газетах сообщения о смерти Джеймса содержат признания его заслуг, в них воздается хвала его добродетели, честности, справедливости, а также отмечается его скромность, выразившаяся, в частности, и в том, что перед смертью Джеймс выбрал похороны по второму разряду: все очень просто, никакой пышности (какой контраст с похоронами умершего незадолго до Джеймса его друга композитора Россини!), простой катафалк, без всяких украшений, который везли всего две черных лошади.

Его наследник, мой дед Альфонс, родившийся и выросший в Париже, не познал в детстве суровой атмосферы гетто и получил блестящее французское образование во всех его тонкостях. Банк в эпоху, когда он стал его директором и хозяином, был в апогее могущества и славы. Несколько лет спустя и у моего деда появился шанс продемонстрировать одновременно свою компетентность и свой патриотизм: Тьеру, после поражения Франции в 1870 году, нужен был государственный заем в размере

пяти миллиардов для выплаты Германии в качестве контрибуции. Альфонс вместе со своим другом, министром финансов Леоном Сэем, мобилизовал все силы и ресурсы; Альфонс очень помог быстро решить финансовые проблемы: заем окупился в пятикратном размере, став одним из самых блестящих примеров в нашей финансовой истории. Сам Альфонс подписался почти на половину займа, а именно - на два миллиарда сто пятьдесят миллионов [франков]!

Оставаясь верным традиции национальной солидарности евреев, Альфонс, по зрелом размышлении, отказался от сотрудничества со своим лучшим «клиентом», царской Россией, правительство которой он считал виновным в организации кровавых погромов.

* * *

Незадолго до Первой мировой войны Дом Ротшильдов разделился на отдельные национальные Дома, которые, особенно с 1918 года, выбрали для себя в разных странах различные ориентации.

Лондонский Дом стал называться «Merchant Bank». Специализацией этого банка стало кредитование промышленности под залог ценных бумаг и активов. Кроме того, этот банк стал крупнейшим центром финансового консалтинга, посредником и промоутером финансово-промышленных проектов и технологий. К этому «Н. М. Ротшильд и сыновья» присовокупили деятельность по аффинажу золота и заняли в этой области господствующее положение. И сегодня курс золота каждый день определяется в бюро Ротшильдов в Нью- Корте, на Сан-Суизин-Лейн, в двух шагах от Банка Англии. Не следует забывать, что Сити в Лондоне было центром мировой финансовой жизни до того момента, пока в период между двумя войнами Нью-Йорк не перехватил у него эту инициативу.

Парижский Дом Ротшильдов, напротив, был связан с финансовым рынком в более узкой сфере, являя собой скорее провинциальный для экономики начала XX века тип банка. Предшествовавшее мне поколение Ротшильдов взяло управление банком в свои руки менее чем за десять лет до Первой мировой войны. В 1914 году ему была предоставлена возможность возродить былую славу на операции, типичной для банка Ротшильдов в XIX веке. Вскоре после начала военных действий французское правительство стало искать возможности крупного займа в долларах. Оно обратилось к банку Морганов, который предпочел иметь дело с французскими Ротшильдами, а не с французским государством. Но на этот раз «Братья Ротшильды» не только ничего не заработали на операции, но провели ее с

дебитным сальдо, поглотившим их кредитные средства: они перевели долларовый заем на государственные счета Франции, не взяв за это, с учетом сложностей, переживаемых французской экономикой из-за войны, никаких комиссионных.

Всегда и при всех обстоятельствах мой отец хотел оставаться бескорыстным слугой своего отечества - Франции. Вильфрид Баумгартнер как-то рассказал мне, что в течение 1920-1930-х годов, когда он был директором Государственного Казначейства (называвшегося тогда «Движением Фондов»), ему пришлось столкнуться с серьезным кризисом неплатежей, которые он не мог погасить в нужные сроки. Тогда он обратился к моему отцу, и тот, с присущим ему великодушием, ссудил Казначейству требуемую сумму.

Но с 1918 года мир стал иным, сотрясаемым инфляцией и разрушением денежной системы. Поколение моего отца стало постепенно терять почву под ногами. Оно развивалось и росло в условиях исключительной стабильности цен и зарплат, которая продолжалась сорок четыре года, а именно, с 1870 по 1914 год. Это был Золотой век, когда курс валюты не претерпевал никаких существенных изменений и когда не существовало налога на прибыль.

Но уже Джеймс сталкивался с тем, что надо уметь постоянно приспосабливаться к меняющимся экономическим и финансовым условиям, и постоянно размышлял об этом, если верить свидетельствам эпохи. Так, он не принимал и не одобрял теорий, которые в эпоху Второй Империи назывались «неосенсимонистскими», и не одобрял настолько, что даже до определенной степени свернул деятельность банка на период всеобщего увлечения финансистов этими теориями. Он не верил в «народный капитализм», особенно в его финансовое обоснование, и по этому случаю даже написал трактат, в котором предупредил об опасности этой моды, предрекая крах банков «Креди мобилье» в Австрии и во Франции.

Но в целом деятельность банка Ротшильдов до 1918 года охватывала многие сферы европейской экономики. После 1918 года, напротив, ремесло государственных банкиров Европы, коими являлись в течение полутора веков Ротшильды, стало не под силу одному частному банкирскому дому.

* * *

Банк, начиная с 1817 года, размещался в особняке на улице Артуа, позднее переименованной в улицу Лаффит в память о знаменитом финансисте, председателе Совета и министре финансов при Луи-Филиппе. Совпадение его имени с названием нашего семейного виноградника Шато-Лафит чисто случайное и,

как это видно, не подкреплено орфографией. Здание, приобретенное моим прадедом Джеймсом, некогда принадлежало королеве Гортензии. Джеймс жил здесь всю свою жизнь, и вплоть до сноса этого особняка, в 1968 году, еще можно было видеть комнату, в которой он умер; все в ней бережно сохранялось, как при его жизни. Со временем Джеймс купил соседние с особняком здания и, таким образом, помещения банка занимали дома под номерами 19, 21 и 23 по улице Лаффит.

Вся деятельность банка развертывалась вокруг так называемого «большого бюро». Оно представляло собой просторную прямоугольную комнату с пятью окнами, выходившими на улицу. Между окнами перпендикулярно к стене стояли высокие вместительные столы с конторками, предназначенные для «ассоциированных членов», которые сидели, таким образом, друг за другом.

Сюда, в «большое бюро», приходили служащие банка, посетители, информаторы и маклеры, чтобы получить инструкцию руководителей банка, изложить им свое дело, посоветоваться. Даже если один из ассоциированных членов обладал большими, чем другие его коллеги, авторитетом и полномочиями, организация оставалась абсолютно коллегиальной, и хотя каждый имел персональный кабинет, он удалялся туда только для решения каких-то вопросов личного характера.

В 1931 году, когда моя работа в банке только начиналась, некоторое оживление в «большом бюро» было по утрам и вновь возобновлялось после закрытия биржи. Во времена Джеймса там, напротив, постоянно царили суматоха и лихорадочное передвижение: бесчисленные посетители приходили по самым разнообразным делам, они сами пытались что-то предложить или же послушать, что им скажет этот необыкновенный и властный человек, безраздельно господствовавший здесь надо всем и всеми.

Отец Жоржа Фейдо, который работал на улице Лаффит при Джеймсе, так описывает атмосферу банка: «Надо было видеть, как все в огромном здании банка подчинялось движению волшебной палочки его главы! Какой дивный порядок повсюду! Как послушны и умны служащие! Какое примерное повиновение сыновей своему отцу! Какое чувство субординации! Какое уважение. Не думаю, что в мире найдется еще один банковский дом, где все вещи были бы расположены столь же упорядочение, в столь же идеальном порядке, были бы столь же тщательно подобраны, отвечали хорошему тону и респектабельности. Во всем чувствовалось, что дело поставлено с размахом, что богатство нажито кропотливым трудом и все здесь основательно;

каждый руководитель службы здесь человек высокопорядочный, чистота в помещениях радует глаз; и, наконец, более чем за пятнадцать лет, что я работал в банке, за исключением, быть может, нескольких чересчур эксцентричных эскапад патрона, все, что я видел там, было чрезвычайно благоприятным, корректным и заслуживающим уважения».

Фейдо также с юмором отмечает «настойчивое, не оставляющее надежды, что оно когда-либо прекратится, шествие толпы друзей трех полов - мужского, женского и нищенствующего».

Такой большой общий зал был во всех частных банках, будь то в Америке, Англии или во Франции. Но после Второй мировой войны, когда претерпели изменения нравы и методы работы, мои кузены и я выступили с инициативой сделать «большое бюро» залом собраний акционеров и заседаний совета банка.

На каждом столе ассоциированных членов располагалась целая батарея кнопок из слоновой кости от электрических звонков, позволявших связываться с руководителями служб, функции которых именовались таинственно «Портфель», «Гроссбух», «Ликвидация». Только один или два «высокопоставленных» служащих удостаивались чести увидеть свое имя под одной из кнопок. Среди всех этих реликтов устаревшей организации труда телефон вносил какую-то нотку современности, но функция его оставалась чисто декоративной, поскольку мой отец пользовался им чаще для того, чтобы через телефонистку связаться с кем-нибудь из служащих банка, нежели для звонков куда-либо вне его пределов.

* * *

В отличие от лондонских Ротшильдов, парижская ветвь нашей семьи, начиная с 1870 года, широко инвестировала капиталы в индустрию, и в особенности большие капиталовложения были в железные дороги, шахты, производство и распределение электроэнергии и конечно же - в нефть. Но и в этом тоже, должен констатировать, наш банк ограничивался лишь участием в управлении, не предпринимая каких-либо инициатив.

В том, что касается нефтяной отрасли, улица Лаффит следовала прихотливыми путями, которые привели к совершенно неожиданным результатам. По- видимому, на моего деда произвели сильное впечатление керосиновые лампы, и он сумел предвидеть глобальное расширение их применения. Он купил нефтяные скважины на Кавказе и поставил управлять ими небольшую группу людей, которые разместились на последнем этаже старого парижского здания банка. Сотрудники этой группы осуществляли свое руководство настолько добросовестно, вникая

во все тонкости производства, что из Парижа они решали даже вопрос о премировании или, напротив, наказании кого-то из рабочих на Кавказе.

Результаты их деятельности оказались весьма неплохими, коль скоро в начале 1914 года голландская компания «Роял Датч» купила эти скважины, как мне говорили, в обмен на 10 % своего уставного фонда. Грянувшая через три года русская революция их в чистую разорила, скважины были конфискованы.

Лорд Детердинг, президент «Роял Датч», почему-то уверовал в то, что Ротшильды все заведомо предвидели и умышленно надули его, с неугасимой ненавистью он их преследовал до самой своей смерти. Я прекрасно знаю, что только богатым дают деньги в долг, но наделять мою семью пророческим даром - это уже из области фантастики!..

Лишь одно событие вывело банк «Братья Ротшильды» из его вечной спячки, но это было событие исключительной важности.

После 1931 года вся Центральная Европа переживала тяжелейший экономический спад. Не миновала чаша сия и венский банк «Кредит Анштальт», возглавляемый моим кузеном Луи де Ротшильдом. Он имел неосторожность дать личное поручительство по долговым обязательствам «Амштель Банка», голландского филиала «Кредит Анштальт», который с наступлением кризиса прекратил выплаты. Мой отец ни секунды не колебался: к финансовой поддержке, пришедшей из Лондона, он присоединил помощь французской ветви семьи; потребовалась очень крупная сумма, чтобы оплатить все долги по обязательствам, взятым на себя Луи, и защитить честь и доброе имя нашей семьи.

Для расплаты с кредиторами «Амштель Банка» венские Ротшильды внесли залог в размере суммы его замороженных активов, которые были затем реализованы нашим банком, и когда в 1939 году вспыхнула война, все долги уже были полностью выплачены. На этот раз операция по спасению закончилась благополучно.

* * *

Мой отец, конечно же, понимал, что в банке я явно недогружен. И вот, через два года моей работы он назначил меня секретарем Комитета управления Компании Северных железных дорог. Во главе этой компании, основанной 18 сентября 1845 года еще моим прадедом, стоял сначала мой дед, а потом - мой отец. Она занималась эксплуатацией самой густой сети железных дорог в одном из богатейших промышленных регионов страны. Служебные помещения компании располагались в здании, примыкавшем к Северному вокзалу, и сообщались с ним. В мои

обязанности входило по вторникам и пятницам в четырнадцать часов докладывать Комитету решения, которые представлял на рассмотрение генеральный штаб компании - многочисленная группа компетентных сотрудников.

Хотя моя роль этим ограничивалась, но я постоянно соприкасался с проблемами крупного промышленного предприятия, которое проводило различные банковские операции на финансовом рынке.

Незадолго до моего появления на улице Лаффит мой отец выбрал сотрудника, которому он доверил осуществлять эффективный контроль за деятельностью Компании. Его звали Рене Майер. Этот рослый человек был известен своим авторитетом и компетентностью. Это он в 1937 году вел переговоры с правительством Народного фронта о национализации железных дорог и сумел отстоять так называемую «частную собственность» компаний, что им позволило еще долго удерживаться на плаву в качестве держателей пакетов акций и ценных бумаг. Мы стали друзьями с Рене Майером и особенно сблизились после поражения Франции в 1940 году и позднее, когда он вошел в состав кабинета министров Алжира и приехал в Лондон.

После войны он выбрал карьеру политика, был председателем Совета, а затем в 1955 году занял пост президента Международного объединения угля и стали. В какое-то время он оставил общественную жизнь, занялся частными делами, но, уступив моим настойчивым просьбам, он в конце концов стал президентом компании «Ле Никель».

В предвоенные годы я испытывал неудовлетворенность молодого человека, занятого малоинтересной работой, и старался воспользоваться любой возможностью, чтобы постичь что-то новое и заняться чем-то полезным. Так, *я* попробовал свои силы в биржевых спекуляциях совсем небольшого масштаба, и это был мой первый опыт подобного рода.

Углубившись в мелкие дела семьи, я открыл для себя компанию «ТЭМ», которая занималась изготовлением электроаккумуляторов. Я не входил в административный совет компании, но фактически возглавил ее. Это было малорентабельное предприятие, и тем не менее здесь я получил первые уроки менеджмента. Деятельность компании осуществлялась в рамках одного из профессиональных соглашений, которые заключило правительство, чтобы ограничить резкое падение цен.

Кризис и «конец света»

Сегодня уже стерлось из памяти, сколько прекрасных идей загубил мировой экономический кризис. Руководители промышленности и, в первую очередь, финансисты искали способы отражения удара, нанесенного им кризисом, пересматривали традиционные методы ведения дел, предлагали новые решения. Стагнация вызвала к жизни целую лавину политических и экономических теорий, при этом апологеты самых научных среди этих теорий оказывались в тупике. Со временем распространение фашизма с его идеей автаркии - создания самообеспечивающейся экономики - казалось, принесло наиболее подходящее решение для преодоления депрессии. Но уже с самого начала войны в Испании отвратительный образ идеологии фашизма получил конкретное воплощение. Действия Рузвельта, который боролся с дефляционным кризисом, предпринимая такие меры, как повышение зарплаты, дефицит бюджета и девальвация, шокировали многих американцев и показались им революционными. Во Франции некоторые умные головы проявили неподдельный интерес к этим мерам. В 1981 году правительству Моруа предстояло провести те же самые реформы, но, увы, обстановка оказалась совершенно иной, нежели в 1932 году в Соединенных Штатах, - результаты этих реформ общеизвестны.

Для тогдашних аналитиков этот мировой экономический кризис оставался таинственным и необъяснимым - экономической науки не было. Любые теории, даже самые причудливые, принимались с надеждой, по крайней мере, на какой- то момент.

Лично для меня все это стало проясняться тогда, когда я встретился с двумя экономистами - братьями Гийом. Они разрабатывали теорию анализа создания и уничтожения денежных документов, а также последствий этих процессов. Математическая модель должна была обеспечить возможность предвидеть инфляционные и дефляционные циклы и заранее определять положение дел на бирже. Но слишком долго было ожидать результатов от их науки, которая находилась еще в эмбриональном состоянии. Как бы то ни было, именно благодаря братьям Гийом я начал размышлять об инфляции как последствии государственной задолженности. Тема неисчерпаемая!..

Это десятилетие, которое отделяло мои тогдашние молодые двадцать лет от начала Второй мировой войны, осталось в моей памяти как время, когда Франция, казалось, застыла в параличе.

И не только крах на Уолл-стрит был тому причиной. Депрессия настигла нашу страну последней, через много месяцев после других европейских стран. При менее динамичной экономике у нас она не достигла подобного уровня. Более пятидесяти процентов населения Франции были заняты непосредственно в сельском хозяйстве или же были с ним как-то связаны, и потому для нашей страны драматические последствия кризиса в промышленности и сфере финансов оказались менее ощутимы, чем для США и Великобритании, жестоко от него пострадавших.

Безусловно, Франции чудовищно недоставало тех полутора миллионов молодых людей, что полегли на полях сражений Первой мировой; вместе с ними страна лишилась их молодости, их динамизма, энтузиазма, потеряла потребителей и производителей товаров.

Казалось, все оцепенело, ничто не должно было меняться, никаких политических или экономических событий не могло произойти. Франция становилась старой страной, страной стариков, где впервые в ее истории население больше не обновлялось. Это было время, когда на колкий вопрос: «Почему Франция выбирает руководителями этих стариков?» один англичанин ответил: «Да просто потому, что у нее не получается отыскать кого-то постарше!»

Какой контраст с четвертью века, последовавшей за Второй мировой войной, когда инициатива, рост и развитие, модернизация, индустриализация и поступательное движение укрепляли в сознании людей мысль, что прогресс продолжается.

* * *

В то время как Европа с трудом выходила из ужасного экономического кризиса, Франция продолжала играть свою роль Спящей красавицы. В особенности это касалось деятельности в сфере экономики, ее общей жизнеспособности и ее демографического положения.

Зато политическая жизнь Франции била ключом.

Я не вмешивался в эти политические сражения. И тем не менее, однажды мне довелось оказаться в самом центре беспорядков... за окном моей квартиры на улице Сан-Флорантен. Это было 6 февраля 1934 года.

Зрелище этого разгула насилия навсегда останется в моей памяти. Финансовый скандал, вошедший в историю как «дело Стависского», в который оказались втянутыми некоторые депутаты парламента и члены правительства, оказался искрой, достаточной для того, чтобы разгорелось пламя большого пожара. При этом «зажигательная смесь» состояла из горечи и недовольства, порожденных экономической депрессией, с одной

стороны, и тем обстоятельством, что фашизм набирал обороты, вызывая у всех тревогу и волнения, - с другой, хотя при этом некоторые хотели видеть только пришедшие с фашизмом экономические успехи, что особенно было заметно в Италии.

И вот, 6 февраля «Огненные кресты» (праворадикальная группировка) призвали на демонстрацию, которая быстро превратилась в антипарламентскую. Чудовищных размеров толпа хлынула на площадь Согласия и захватила бы Бурбонский дворец, если бы не действия полиции и войск, давших отпор манифестантам.

Вскоре я услышал выстрелы. Стреляли полицейские, все кричали, в толпе началась паника, люди метались, беспорядочно перебегали с одной стороны площади на другую.

Конная полиция атаковала манифестантов. Бунтовщики бросали под ноги лошадей металлические шарики, лошади скользили и падали. Другие, совсем обезумев, пытались бритвами перерезать лошадям скакательные суставы. Стоны раненых, крики и вопли от страха, стук деревянных подошв по мостовой, выстрелы, громко отдаваемые приказы полицейских чинов и предводителей бунтовщиков - все сливалось в один страшный гул, который поднимался над освещенной площадью.

Паника, исступленная ярость, ненависть и смерть - было двадцать два человека убитых и более двух тысяч раненых - впервые я стал свидетелем такого зрелища; испуганный и потрясенный, я не отрываясь всю ночь смотрел этот грустный и кровавый спектакль.

Уже в следующие дни эстафету подхватили анархисты и коммунисты, которые, в свою очередь, организовали многотысячную антиманифестацию; казалось, закон и порядок покинули столицу.

А через два года победу праздновал Народный фронт. Моя семья невольно оказалась замешанной в эти события, и не только в связи с национализацией. Вспомним, как тогда писали: «Железные дороги, и это было ясно с самого начала, были авантюрой, которая развлекала Ротшильдов». Наше имя звучало в те дни, в основном, в связи со знаменитым слоганом «Двести семей», которым определялся «козел отпущения». Возможно, в другом месте этот слоган был бы кстати, но не здесь, поскольку то, что Леон Блюм возглавлял правительство Народного фронта, напротив, усилило антисемитизм некоторых правых.

Слоган «Двести семей» находил какую-то видимость оправдания в некоторой неопределенности статуса «Банк де Франс», который еще не был национализирован. Каждый год на Общем собрании акционеров только двести акционеров-

держателей самых крупных пакетов акций имели право голоса. Голоса, который не давал им никакой особой власти или полномочий, однако левая пропаганда ухватилась за это обстоятельство, чтобы утвердить в общественном мнении ту идею, что судьба страны находится в руках двухсот самых богатых семей. Кроме того, все знали, что мой отец является управляющим «Банк де Франс». Блюм и Ротшильд - решительно Франция принадлежит евреям! Здесь не место вновь открывать бесконечные дебаты, где скрестят копья сторонники и противники социальных реформ и будут вновь обсуждаться экономические итоги деятельности правительства Народного фронта. Мне бы только хотелось подчеркнуть первостепенное влияние, которое, на мой взгляд, оказали эти дебаты на коллективное бессознательное французов, более, чем когда-либо разделенных на два враждебных лагеря, влияние, которым во многом объясняется поведение тех и других перед лицом нарастающей опасности фашизма и, в особенности, в период оккупации Франции.

Буржуазия пережила самый большой испуг за всю свою историю - всеобщую забастовку с занятием заводских помещений; ни с чем подобным они до сих пор не сталкивались и им казалось, что это первые признаки настоящей революции, что их власть и само их будущее поставлены под вопрос. Испуг породил у собственников горечь и агрессивность, которые обернулись против всех левых партий в целом, против Леона Блюма и евреев - в частности, - всех побросали в одну корзину, все рассматривались как приспешники коммунистического Дьявола, сознательно или не отдавая себе в том отчета оказавшиеся на стороне сатаны.

Этот «Великий испуг благонамеренных» охватил также и средние классы, а между тем, зловещая тень Гитлера нависала над Европой. Совсем обезумев, многие считали, что это деградировавшая и прогнившая насквозь парламентская система довела страну до революции. В то время можно было услышать знаменитый лозунг: «Лучше уж Муссолини или даже Гитлер, чем Сталин!», и многие из тех, кто не осмеливался его произносить вслух, тоже так думали. К застарелой французской ксенофобии уже примешивался антисемитизм, чтобы отвергнуть тех, кто бежал из гитлеровской Германии и искал убежища «у нас».

* * *

Когда началась война, каждый, конечно же, выполнил свой патриотический долг. Однако союз между политическими партиями Франции возродился лишь внешне; в массе своей буржуазия затаила неугасшее недоверие к «классам трудящихся»,

и все понимали, что на этот раз никто не готов ни, нацепив цветок на ружье, рваться в бой, ни «умирать за Данциг».

Ирония истории! Тот самый Леон Блюм, которого в номерах «Аксьон франсез» называли лидером без родины, вождем подонков и международного еврейства, кровожадным зверем, так вот тот самый Блюм после войны станет для тех же самых кругов последним бастионом борьбы против большевизма. Мне довелось с ним встречаться, и, признаюсь, *я* был буквально очарован этим любезным, достойным, утонченным, артистичным и бескорыстрым человеком, истинным интеллигентом-идеалистом.

Народный фронт и правительство умеренных, которое его сменило, делали попытки восстановить экономику, перевооружить ее настолько быстро, насколько это позволяло положение страны с отсталой промышленностью, но Франция всегда оставалась в руках замшелых чиновников и трусливых лидеров, которые не имели ни малейшего представления об эффективной организации экономической жизни страны, то есть о том, что наши технократы назовут хорошим «менеджментом».

Когда немецкие нацисты захватили Австрию, моего кузена, Луи де Ротшильда, племянника моего отца, тут же арестовали. Луи был сыном старшей сестры отца, которую отец очень любил и которая вышла замуж за Ротшильда из венской ветви нашей семьи. Мой кузен отказывался верить, что нацисты представляют какую-то опасность для всех евреев. Можно себе представить, как арест Луи расстроил моего отца; он поднял на ноги всех адвокатов-международников Франции, чтобы вести переговоры о его освобождении. К счастью для моего кузена, война еще не была объявлена и Гитлер еще хотя бы делал вид, что считается с тем, какой международный резонанс могут иметь его действия. К концу года усилия моего отца, наконец, дали результат, и Луи смог приехать в Париж, бросив все, что он имел, без всякого вознаграждения.

В Париже его поведение позволяло думать, что он неплохо перенес свое заключение. Через год он эмигрировал в Аргентину, где хотел начать новую жизнь, и там попал в автокатастрофу. Когда его, едва живого, поднимали, то услышали, как он пробормотал: «Им все-таки удалось до меня добраться.»

Тайный кошмар преследовал его в течение всей его оставшейся жизни.

После Мюнхена уже никто не мог отрицать, что слышит, как все ближе грохочут солдатские сапоги. Если сегодняшним поколениям трудно понять то, что оказалось позорной капитуляцией, им следует напомнить два обстоятельства: воспоминание о чудовищной бойне 1914-1918 годов было еще

слишком живо в памяти у всех, и никто не хотел поверить, что не за горами новая война; с другой стороны, казалось, что, объединившись, Англия и Франция неуязвимы: как может на них напасть страна, недавно поверженная, только начавшая перевооружаться. За исключением горстки провидцев, все рассматривали Мюнхенское соглашение как мудрый способ избежать войны, а вовсе не как постыдный страх перед поражением.

А в это время гениальный комедиант, правивший Германией, начинал готовить свою великолепную психодраму и искусно разыгрывал трагедию под названием «Политика малых шагов», каждый из которых, клялся он, положа руку на сердце, - последний. Со своей стороны, наша публика, по сути дела, просила лишь о том, чтобы ей позволили оставаться обманутой, когда она не поняла английской пьесы «Умиротворение», изысканным автором которой был Чемберлен.

Воля каждого видеть или не видеть тех, кто в современном мире играет те же самые роли под аплодисменты той же самой публики.

В конце 39-го года во время одного светского приема Гастон Палевски отвел меня в сторону.

- Мы развлекаемся последний раз. Больше такого не будет, наступает конец света.

Эта мысль меня удивила. Как и почти все вокруг, я ожидал, что будет война. Но чтобы «конец света»? И в то же время нельзя не признать, что за утонченными манерами Палевски и его не сходящей с лица улыбки чувствовалось, что этот человек явно обладал здравым смыслом. Я растерялся.

Трудно отыскать точное определение чувствам, испытанным мною во времена событий, которые история очертила черной краской. Все, что *я* слышал впоследствии, все комментарии, почерпнутые то здесь, то там, либо вносили разброд в мои воспоминания, либо давали некое официальное освещение тому, что я в действительности пережил. И как можно быть объективным свидетелем своих переживаний и своей жизни, когда воцарилось всеобщее помешательство, когда безумным стал каждый, даже самый малый, самый ничтожный «винтик» огромной машины?

* * *

Но давайте будем придерживаться фактов. В июле 1939 года перед тем, как отправиться в отпуск, я специально оставил одно утро, чтобы привести в порядок мои дела, рассортировать бумаги, отделить «досье», которые следовало «удалить», от тех, которые предстояло «выбросить». Мне было невыносимо и подумать,

чтобы выставить напоказ врагу мою профессиональную или частную жизнь, вставшую со страниц писем, рабочих документов, записей договоренностей о встречах.

Я ощущал постоянное беспокойство. После Мюнхена мир для меня переменился, чувство наивного оптимизма меня покинуло.

В то лето у моей жены Алике случился выкидыш, и мы решили на несколько дней поехать в круиз вдоль побережья Корсики.

Это было в конце августа. Мы находились в бухте Кальви и слушали новости по радио. Вдруг что-то заставило меня насторожиться - несмотря на то, что сообщения о последних событиях были туманными и расплывчатыми, я понял, что скоро ожидается подписание пакта между Гитлером и Сталиным. Я поспешил на берег, чтобы позвонить в Париж. Оказалось, что любая другая связь, кроме официальной, запрещена. Тем же вечером я решил взять курс «на континент», и на рассвете мы подошли к Сен-Тропе - маленький подвиг мореплавателя-любителя! Наш капитан заболел и вынужден был уступить штурвал мне.

Все утро я делал попытки уехать в Париж. Никакой возможности вернуться! Моя кузина Сесиль, которая жила в Сен-Тропе, тоже собиралась вернуться в столицу и предоставила нам два места в своей машине.

Уже следующим вечером в объявлениях о мобилизации, расклеенных на стенах домов в Париже, я увидел свой номер. Через несколько дней была объявлена война.

Столько уже прочитано исторических романов о войне; столько фильмов - настоящих эпических полотен, посвященных войне, прошло по экранам мира; столько услышано рассказов о славных баталиях на земле, на море и в воздухе. Почему же и я тоже рассказываю здесь историю моей маленькой войны? Я долго думал над этим. Эти пять лет явились основным опытом моей жизни, сыграли в ней решающую роль, определили мою дальнейшую жизнь.

До войны мое существование было легким и приятным, и вдруг я оказался погруженным в хаос и неизвестность, в жизнь жестокую и полную опасностей. Я уже не говорю о таких последствиях, как моральная ответственность или необходимость сделать политический выбор; наконец, это был опыт, оставивший тяжелый след.

Мой полк входил в механизированную дивизию, включающую бронекавалерийскую бригаду, несколько тяжелых танков, немного артиллерии и два драгунских полка. Все эти соединения, теперь механизированные, должны были выполнять роль,

традиционно отводимую кавалерии, - быстро перемещаться на дальние расстояния на обширных фронтах военных действий, замедлять продвижение противника, проводить разведку.

Сформированный из резервистов, наш полк еще ожидал своего оснащения. Мало-помалу оно стало поступать - совершенно разнородное и разнокалиберное; поступало и вооружение - столь же нелепое, начиная с обычного вооружения (пулеметы устаревших моделей, противотанковые пушки. Уже вышедшие из употребления) до на редкость необычных транспортных средств, поскольку в нашем кавалерийском полку не было ни одной лошади!

Все началось с того, что меня определили в моторизованное подразделение. По истечении нескольких недель я, наконец, получил мотоцикл с коляской. Как и вся техника нашего полка, мой мотоцикл требовал неимоверных усилий, чтобы он тронулся с места; три секунды он вращался на месте, затем икал, перед тем, как испустить дух в жутком взрыве. Всю процедуру приходилось начинать сначала и так до бесконечности.

Три месяца мы ожидали, пока транспортные средства будут приведены в рабочее состояние. К счастью, немцы тоже ожидали. Но совершенно другого!

11-м эскадроном драгун командовал уже немолодой лейтенант, он участвовал еще в сражениях 1914-1918 годов. Когда он заболел, мне, как старшему по званию из офицеров-резервистов, выпало временно командовать этим подразделением.

Пока длились операции, с 10 мая и до объявления перемирия, *я* выполнял обязанности капитана, командуя эскадроном; под моим началом были четыре взвода, подразделение пулеметчиков, административный отдел - всего приблизительно двести человек.

Спустя три дня после того, как наш полк был сформирован в Понтуазе, нас отправили на север, в сторону Сен-Кантена. Мы проходили грязные и печальные деревни, офицеры размещались в домах жителей, солдаты - на фермах, как во времена классических маневров.

Это не прекращалось ни зимой, ни осенью; бесконечные переклички, смотры, марши, боевая подготовка, краткий отдых и ремонт техники, обучение обращению с машинами, тренировочные стрельбы - и так все время. Вечерами мы были обречены все это обсуждать - ведь никаких других развлечений в Сен- Кантене не было.

Такое впечатление какой-то ненастоящей войны расхолаживало нас и успокаивало. Напряжение ослабевало и постепенно отступало, нас охватывали скука и грусть от

бездействия. Мы находились в явно двусмысленном положении: ни «триумфа оружия», ни видимого поражения. В действительности это немного напоминало школу - мы ожидали конца тревожного момента: нас конечно же должны были «спросить» в ходе будущих военных действий, но никто из нас не имел ясного представления о том аде, который разверзнется. Немцы не казались нам чересчур агрессивным или опасным противником; мы считали, что и спустя двадцать лет после победы французская армия сохранила свою боеспособность; конечно же наша армия была оснащена намного лучше и располагала несравненно большей огневой мощью, чем армия несчастных поляков. Впрочем, нас обильно кормили успокаивающей информацией: мы слышали разговоры о танках, самолетах и пушках, поступающих на вооружение в количествах, которые нас впечатляли. И поскольку наша армия не утратила некоторые из своих добрых традиций, сама мысль о возможном поражении нам казалась невероятной. Обманчивая пропаганда - возможно, даже не организованная, вселяла чувство защищенности; нам внушали, что немцы терпят всякого рода лишения, потери и имеют массу скрытых уязвимых мест.

Зимой 1940 года к нам с сообщением прибыл офицер, командующий 2-м (разведывательным) отделом армейского корпуса - полковник Туни. Он пользовался весьма лестной репутацией человека компетентного и серьезного, тем не менее я удивился, когда он назвал состав каждой из немецких частей, которые нам противостояли. Его выводы заставили меня задуматься.

«Вы не должны обольщаться, - настаивал он, - вам противостоит немецкая армия с мощным оснащением, отлично обученная, прекрасно подготовленная морально, это вам не солдатики 1914 года.»

Я уже забыл подробности этого «брифинга», но хорошо помню то чувство тревоги, которое он оставил.

* * *

10 мая наша часть находилась в маленькой деревушке недалеко от Камбре. Разбуженный очень рано криками и взрывами, я сразу понял: «каникулы» кончились.

Поступил приказ немедленно выступить и войти в Бельгию. «Немедленно?.» Только во второй половине дня колонна вышла на марш! Нам потребовались час или два, чтобы дойти до границы, где никого не оказалось. Проходя по деревне, подвергнувшейся бомбардировке, мы увидели мужчину, который шатаясь брел с ребенком на руках. Малыш был весь в крови. Первая картина войны. Наш переход закончился с наступлением

ночи, мы остановились у кромки леса.

С утра я, как и все мои товарищи, был в напряжении; меня охватило странное возбуждение, быть может, предчувствие какого-то риска, приключения. Наше поколение воспитывалось на уважении к героям войны 1914-1918 годов, нам с малолетства рассказывали истории о боях и победах, с ранних лет мы знали о неувядаемой славе Вердена. Люди старше меня лет на пятнадцать-двадцать или тридцать участвовали в этой грандиозной эпопее; участниками ее были, в частности, все старшие офицеры моего полка. Нам нужно было доказать, что мы достойны своих предшественников. Я знал, что смогу принять бой, знал также, что многие из нас не вернутся домой. Я старался не думать о моей собственной судьбе, о том, как я сам справлюсь с этим великим опытом.

10 мая, лежа на земле этой первой ночью настоящей войны, я никак не мог заснуть. К тому же, я совсем забыл, что весенняя ночь в лесу может быть такой холодной даже после прекрасного солнечного дня!

Бои вовсе не походили на те сражения, которым нас учили по учебникам.

На десятый день мы получили приказ занять позицию перед маленькой речкой Жет, которая, как предполагалось, будет выполнять роль противотанкового рва. Мы расположились в глубине долины, и вдруг каждый из нас ощутил себя беззащитным. Это чувство все возрастало.

Мой эскадрон получил приказ удержать линию фронта на протяжении более пятисот метров, таким образом мои пулеметчики находились один от другого на слишком большом расстоянии, чтобы иметь возможность поддерживать связь друг с другом. Я сам расположился где-то посередине, чтобы осуществлять связь между четырьмя пулеметчиками и командиром батальона.

Мы видели неиссякаемый поток беженцев, которые передвигались пешком, на лошадях, на машинах, телегах и мотоциклах. И к ним уже примешивались первые отряды отступавшей бельгийской армии.

В то же время над нами кружили вражеские бомбардировщики, явно не спровоцированные нашей авиацией. Ко мне попали документы одного летчика, его фотоаппарат и бумажник, где этот бедный мальчик хранил фотокарточку девушки, и *я* все передал на командный пункт батальона; было такое чувство, будто я раскрыл чью-то очень личную тайну!

Менее чем в километре от нас «штуки» - немецкие пикирующие бомбардировщики - бомбили неизвестный объект.

Свист пикирующих самолетов, грохот взрывов, вид самолетов, которые, казалось, падали прямо на нас - во всем этом было что-то сатанинское.

В толпе беженцев мы увидели немецкого солдата в униформе. Какая тайна привела его сюда? Бежал ли он от победы? Я не испытывал сожаления из-за того, что он попал в плен. Бельгийский офицер, одежда которого мне показалась слишком безукоризненной, чтобы не вызвать подозрения, чуть было не испытал ту же судьбу. Его вопросы показались еще более подозрительными, и я поступил жестоко, грубо выгнав его, сам уже одержимый навязчивой мыслью о «пятой колонне».

На следующий день, в то время когда еще слышался грохот боев, я получил донесение из командного пункта батальона. В нем говорилось, что эскадрон, расположенный слева от меня, атакован противником и несет потери. Я изо всех сил старался собрать воедино все мои воспоминания о военном искусстве и все же никак не мог сообразить, что предпринять в этой ситуации. И я довольствовался тем, что предупредил пулеметчика, находящегося слева! Впрочем, тут же выяснилось, что это было хорошее решение: мне приказали отступить на несколько километров!

В тот момент, когда мой эскадрон только успел перегруппироваться за деревней, я услышал мощные взрывы. Я приблизился, взволнованный, и только тут понял, что это наша собственная артиллерия обстреливает вражеские позиции. Моя первая встреча с артиллерией! Я почувствовал облегчение, по крайней мере я хоть чему-то научился в первые два дня боев!

Начался период маневров, абсолютно непостижимых, похожих на грандиозную игру, правила которой никто не знает, как не знает ни ее целей, ни замысла, игру, развития и течения которой я сам, ответственный за доверенную мне часть, не понимал.

Вначале маневры состояли для нас в том, чтобы занять одну позицию перед тем, как двинуться и занять другую. Очень скоро мы уяснили себе, что отступаем, отступаем шаг за шагом, часто без боев. Особенно приводило в замешательство ощущение, что мы отрезаны от остального мира, что нам абсолютно неизвестны действия, разворачивающиеся впереди или позади нас. Связь осуществлялась, только когда связной приносил устное или письменное сообщение.

Невероятно, но это так - весь этот период войны я не видел почты и не слышал радио. И конечно же, никаких газет, никакой печатной информации, - все это благоприятствовало распространению самых тревожных слухов: фронт прорван,

французская армия терпит поражение, особенно в Седане. Это название звучало как похоронный звон.

Но я не нуждался в точной информации, чтобы составить собственное мнение. Через два дня после атаки немцев один из моих товарищей, передавая слова, произнесенные нашим командиром час спустя, торжественно заявил: «С французской армией всегда так, всякий раз она начинает с поражения, а заканчивает сражение - победой». Тогда я ему коротко ответил: «Да, как в Седанев 1870-м».

И право же, это не было черным юмором.

* * *

Наша дивизия, по самой своей природе очень мобильная, вела свою войну и участвовала, сама о том не подозревая, в войне передвижения, - сначала она заполняла дыры на линии фронта, затем во время отступления ее посылали то туда, то сюда, чтобы попытаться задержать продвижение противника вперед и помочь частям, не способным перемещаться с такой скоростью. Впечатление, что мы движемся без цели, с каждым днем крепло, мы болтались в кромешной тьме и пребывали на грани безумия.

Все происходило слишком быстро, новости не поспевали за быстро сменявшими друг друга событиями. А те, что имели отношение к нам, приходили с таким опозданием, что они лишь добавляли растерянности и беспокойства.

Присутствие вражеской авиации, хозяйки неба, завершало эту атмосферу ирреальности. Ночью, даже под покровом леса, нам казалось, что бомбардировщикам противника, совершавшим регулярные облеты, известно, где мы находимся, что они вот-вот спикируют на нас и мы будем уничтожены. Мы жили с неотступной мыслью о предательстве; пресловутая «пятая колонна» была повсюду, и малейший огонек, малейший отсвет казались нам подозрительными.

Усталость способствовала тому, что это наваждение превращалось в галлюцинацию. Однажды утром, когда мы только успели проснуться на опушке леса возле поля со стогами сена, один человек внезапно закричал, что эти стога приближаются к нам. И в каждом скрывается немец!

Ночью мне едва удавалось поспать один-два часа, как колонна должна была вновь перемещаться, и я судорожно искал дорогу по карте. Днем чаще всего мы оставались в укрытии, но всегда следовало быть начеку.

Выжить - означало не только избежать смерти, но также избежать плена. В ходе этого бесконечного и бесцельного отступления у нас была одна неотступная мысль - не растерять нашу часть. Мы превратились в банду солдат на маневрах,

которую другая банда пытается поймать, застать врасплох и захватить.

Как-то утром, похожим на все другие, в то время как мы, находясь позади канала, ожидали распоряжений, наконец, нам пришел четкий приказ: «Больше вы не отступаете. Приказ держаться любой ценой, даже если вас всех до одного убьют». У меня в ушах до сих пор звучат слова какого-то офицера: «В конечном счете, почему бы нам не поболтать, к полудню мы все умрем!» Мы заняли наши «последние позиции» и день прошел без единого выстрела. А ночью мы получили приказ. Сняться с места!

Между тем, битва за Францию не сводилась ни к этим бесконечным блошиным прыжкам, ни к постоянному бегу с преследованием.

Например, однажды ночью меня разбудила пулеметная стрельба. Меня вызвали на командный пункт батальона, расположенный в деревушке, находившейся в одном или двух километрах от леса, где мы стояли. Я прибыл туда и узнал, - что немцы атаковали КП, убили почти всех, кто его охранял, и даже, перед тем как уйти, очень серьезно ранили нашего командира.

А 26 мая. Я никогда не забуду 26 мая 1940 года.

В то утро наша часть остановилась у города Карвена. Передо мной поставили предельно ясную задачу: «Немцы пересекли канал в двух километрах отсюда и заняли поселок Сен-Жан; это шахтерский поселок, что в пятистах метрах от деревни. Нужно их выбить оттуда. Вы атакуете вдоль насыпи, задача отбросить врага за канал.»

Я взобрался на колокольню церкви - наблюдательный пост артиллерии. Меня заверили, что во время атаки нас поддержат танки и артиллерия (много позднее я узнал, что оставались всего один танк и одна пушка из семидесяти пяти).

Как того требовали учебники по военному искусству, я рассредоточил мой эскадрон по маленьким садикам, которые обрамляли открытый участок земли. Я дал сигнал, и мои люди бросились в атаку. Не успели мы продвинуться и на пятнадцать метров, как немцы открыли настоящий заградительный артиллерийский огонь. 77-миллиметровые снаряды «таяли» в воздухе (они взрывались в воздухе на небольшой высоте, не достигая земли); огненный шар, потом летят осколки снаряда, и на открытом участке это еще более опасно, чем снаряды с ударными взрывателями. Я видел, как мои люди падали на землю и оставались неподвижными, оглушенными. У меня не было другого выбора, кроме знаменитого «Вперед за мной!», и люди последовали за мной под артиллерийским огнем.

Тактика, известная с незапамятных времен, состояла в том,

чтобы, пробежав десять-двадцать метров, потом распластаться на земле, перед тем как снова сделать несколько шагов.

Но то, что было эффективно против пулеметного огня, давало ничтожные результаты, когда огонь велся 77-миллиметровыми снарядами - люди оставались уязвимыми, независимо от того, лежали они на земле или стояли. Я больше не мог управлять моей частью.

После ста или двухсот метров продвижения вперед, в тот момент, когда я лежал, распластавшись на земле, в десяти сантиметрах от моего лица в землю вонзился снаряд. Но он не взорвался! Я вскочил на ноги, счастливый, и совсем по- детски с видом победителя поставил ногу на край образовавшейся воронки.

Когда оставалось несколько метров до конца насыпи, одна моя нога соскользнула в навозную жижу. Я громко проклинал эту ничтожную помеху, которая переполнила чашу моего нервного напряжения.

Наконец, я достиг деревни. Ударом ноги вышиб дверь первого попавшегося дома и, направив револьвер на стоявшего передо мной дрожащего человека, не зная при этом, что мое лицо было черным от пыли и копоти, я спросил его, есть ли в его доме немцы. Успокоенный, я попросил воды. Никогда еще никто не обслуживал меня так быстро!

Я вышел, чтобы занять место, откуда я мог бы видеть одновременно и мой эскадрон, и тот, что поддерживал нас слева.

Я шел в атаку, имея сто тридцать пять человек. Оставалось в живых только сорок. Похоже, что слева потери тоже были значительными.

Вместе с двумя младшими офицерами мы обсуждали обстановку, когда я услышал пулеметную очередь. Оба мои собеседника беззвучно упали. Первому попали прямо в лицо, второй лежал с перебитым горлом. Танк, единственный, который нас сопровождал, выпустил снаряд по окну, и конечно небезуспешно, поскольку я оставался там - неподвижная мишень, офицер, которого легко опознать в его непромокаемом хаки.

Я попытался перегруппировать тех людей из моего эскадрона, кто остался в живых. На одной из улиц та же трагедия настигла других моих людей, которые продвигались в соответствии с правилами, падали, держа автомат перед собой. Вопль, рывок, они падали замертво. Настоящее побоище. С силами, которыми я располагал, невозможно было выполнить эту миссию, граничащую с самоубийством, вытеснить такого сильного противника. С моим товарищем, Франсуа де Кастелланом, командиром второго эскадрона, мы решили отойти обратно к

Карвену; и снова нам предстояло идти под тем же огнем. После возвращения на базу мой эскадрон насчитывал всего тридцать пять человек. Один из моих младших офицеров, оставшийся в укрытии, подтвердил, что никто не отказался идти под огнем; все, кого не доставало, были, как я и думал, убиты или ранены.

Я информировал КП о произошедшем и ожидал приказов. Положив руку в карман моего плаща, я вытащил оттуда осколок снаряда длиной сантиметров двадцать! Как мог он туда попасть, не ранив меня и даже не порвав материю?

И чтобы окончательно довершить общую картину трагедии, разразилась сильнейшая гроза; лились потоки воды, сверкали молнии, вокруг нас загорелись стога сена.

В этот момент ко мне подошел помощник врача; я уже видел его в нашей части, но так и не успел познакомиться. Его прислали с КП, чтобы оказывать помощь раненным в бою. Мне пришлось запретить ему это делать, так как было очевидно, что его могли бы убить, а оказать кому-либо помощь в сложившейся ситуации ему бы вряд ли удалось. Он подчинился, и больше я его не видел. Уже после войны я получил книгу «Французская заря» с такой дарственной надписью: «Ги де Ротшильду, которому я обязан жизнью». Это был Луи Арагон.

Карвен явился нашим первым опытом прямого боя. А для меня это было первой встречей лицом к лицу со смертью. Надо полагать, что вопреки утверждению поэта, что «ни солнцу, ни смерти невозможно смотреть в глаза», я смог выдержать взгляд смерти, и этот факт моей биографии был отмечен благодарностью в приказе по армии.

* * *

На следующий день я шел один вдоль канала по направлению к соседнему эскадрону. Вдруг я услышал какое-то гудение, шум мотора. Внезапно на бреющем полете прямо надо мною пролетел самолет. Он летел так низко, что я отчетливо увидел свастику. Машина зашла на вираж, и я понял, что ненасытный летчик-истребитель надеется пополнить список своих удач за этот день. Как раз вовремя я успел броситься в глубокий ров, и пулеметная очередь не задела меня. Разозлившись, я поднялся, чтобы показать нос моему врагу, но он был уже далеко за линией горизонта. Минуту спустя на фоне мирной красоты весенних сумерек эта мимолетная встреча уже казалась ничтожной и нереальной.

Именно в это время Поль Рейно выступил по радио со знаменитым обращением, в котором раскрывалась, наконец, вся серьезность сложившейся ситуации: северная группа войск окружена численно превосходящими силами противника; все

французские семьи, имеющие родственников в этих частях, могут отныне с ними распрощаться.

Мне не было необходимости слышать эти слова, я и так считал ситуацию безвыходной. Я тогда дал себе клятву - буду бороться до конца, сделаю все, чтобы избежать захвата в плен. Я мысленно перебирал все возможные стратегии укрытий во время отступления - в лесу, в амбарах, ночные переходы через линию фронта. да, я бы перепробовал все, живым они бы меня не взяли.

Но судьба распорядилась по-иному. После двух или трех дней хождения туда-сюда, новый приказ: в самые короткие сроки взять Дюнкерк, расположенный в двадцати километрах. Как только *я* получил этот приказ, я решил сразу же пойти предупредить Франсуа де Кастеллана. Была темная ночь, я ехал с выключенными фарами, когда неожиданно столкнулся с другой машиной, тоже шедшей без включенных фар, - это у моего друга возникла та же мысль, что и у меня - он ехал меня предупредить! Его машина явно вышла из строя, так же, впрочем, как и мой нос! Но моя машина - бронированный бельгийский автомобиль, который я нашел брошенным, - выдержала столкновение и могла везти нас обоих.

Рано утром, добравшись до главной дороги, ведущей на Дюнкерк, я попал в жуткую пробку, из-за чего дальнейшее продвижение оказалось совершенно невозможным. Беспорядок адский, но все-таки паники не было. Я решил выйти из машины и продолжать путь пешком, будучи уверен, что мои люди знают приказ. Меня чуть было не разорвало в клочья осколком артиллерийского снаряда, который задел мой плащ. Нам потребовались сутки, чтобы дойти до Дюнкерка. Там в дюнах, окружавших порт, нам дали возможность остановиться. Уж не знаю, каким чудом, наша часть вновь была перегруппирована.

Здесь мы оставались два дня, наблюдая, как бомбы дождем падают на порт, и спрашивая себя, как нам удастся погрузиться на судно. Мы вырыли окопы и прятались в них, когда прилетали вражеские бомбардировщики.

Эвакуация началась 26 мая, когда мы еще вели бои в Карвене, и продолжалась до 4-го июня. (Впоследствии я узнал, что армада из 850 судов всех видов и размеров - от рыболовных суденышек до военных кораблей - переправила в Англию приблизительно 330 000 человек, из которых 200 000 были британскими подданными.)

Ночью 1 июня мы получили приказ незамедлительно выйти на набережную. Когда стал заниматься день, на набережной собралась многотысячная толпа, терпеливо ожидавшая погрузки на суда.

На море штиль, ни одного самолета в небе. Но капитаны на кораблях ворчат, подгоняют запоздавших. Я предпочел плыть на эсминце, возвращавшемся из Нарвика, нежели на старой посудине, которая не внушала мне никакого доверия, и уж не знаю как оказался на палубе зажатым между сотнями таких же счастливчиков. Во время переправы над нами кружил немецкий бомбардировщик, и я отчетливо увидел бомбу с черным брюхом - она летела прямо на меня и упала. за борт, в море.

Наша зенитная пушка время от времени выпускала снаряды, и всякий раз я испытывал радость, омрачаемую страданием, которое мне причинял мой разбитый нос. В этот день три наших эсминца были потоплены, и потери в живой силе и технике были самые тяжелые за все время оккупации.

Мы причалили в Дувре, и, пока на морском вокзале тянулась длинная очередь военных, я побежал искать почту. Я хотел дать Алике телеграмму, рассчитывая, что она в Нормандии, сообщить ей, что я жив-здоров и только что прибыл в Англию. Случилось совершенно невероятное: пока все шло по заведенному порядку - немецкие войска окружили Руан, но моя телеграмма все-таки пришла по назначению.

Английская деревня представляла собой неожиданное зрелище - молодые люди играли в крикет и в гольф, другие лениво валялись на траве; все выглядели безмятежными, спокойными, на лицах улыбки. Они приветствовали эвакуированных военных, как будто речь шла о героях-победителях.

* * *

Не оставив нам времени даже на краткий отдых, нас тут же отправили в Плимут, откуда воинским транспортом мы отбыли обратно во Францию. Устроившись на палубе, мы наконец могли поспать несколько часов. Но нервное напряжение было настолько сильным, что люди просыпались в слезах, им снилось, будто они попали в плен. Мы высадились в Бресте, откуда нас переправили сначала в окрестности Эрвё, а затем в Валле-де-Шеврёз.

Во время перехода через Нормандию я получил краткий отпуск на двадцать четыре часа, чтобы обнять мою жену. Вся моя семья бежала в Бордо, но Алике, предупрежденная моей телеграммой, решила одна возвратиться в Нормандию. Она была первым штатским человеком, поздравившим меня с военным крестом, которым меня наградили в дюнах Дюнкерка.

Был заново сформирован полк и на этот раз быстро экипирован. Наша новая часть входила в 3-ю моторизованную дивизию под началом того же генерала, отличного офицера, постоянной заботой которого было не дать нам попасть в руки

врага.

Немцы вошли в Париж. Для нас началось новое путешествие, сначала на запад, потом на юг. Совсем как во Фландрии, перед тем как занять позицию, нам приходилось сниматься с якоря.

Было бы бесполезно описывать то, что уместнее назвать «отступлением». Во время этой грандиозной «прогулки» у меня складывалось впечатление, что мы все дисциплинированные статисты в балетном спектакле, теперь хорошо срежиссированном, в спектакле, где одни танцоры отступают, а другие приближаются.

Я назову лишь два этапа нашего пути.

Анже. У меня была задача удержать мосты на Луаре, когда прошел слух, что правительство только что объявило «открытыми» все населенные пункты с количеством жителей, превышающим двадцать тысяч. С помощью этой меры запрещались вражеские бомбардировки, но - увы! - запрещалось также разрушение мостов и, в конце перечня - присутствие французских войск. Наш генерал много позднее рассказал мне о своих телефонных переговорах с немецким коллегой: они пришли к соглашению об обязательных сроках нашей эвакуации, чтобы избежать бесполезного столкновения. В этой войне, уже ведущейся без законов и правил, рыцарские традиции брали верх над ситуацией.

Наконец, Ангулем. 24 июня мы приближались к городу, *я* дремал в моей машине, когда меня разбудил крик: «Не стреляйте!»

Револьвер немца был нацелен на меня.

Нас нагнал бронетанковый отряд противника! На повороте мы столкнулись лицом к лицу. Чтобы вести бой, нужно было выпрыгнуть из машин, вынести оружие и рассредоточиться.

Немцы блокировали нам дорогу. Они вынудили нас двинуться по проселочной дороге, ведущей в деревню, в конце которой они устроили пулеметное гнездо. Мне показалось, что если немцы находятся на флангах, то их нет посередине. Я тотчас же отдал приказ моим людям бежать со мной.

Большинство из них последовало за мной. Некоторые из новобранцев, уже распропагандированные врагом и поверившие в то, что немцы их демобилизуют скорее, чем французы, решили, что все пропало, и сдались в плен - тем самым они обрекли себя на четыре года страданий в немецких лагерях.

Мы шли всю вторую половину дня. Начался дождь, когда уже ночью, мы, совсем изнуренные, остановились на бедной ферме этого забытого Богом уголка. И здесь я услышал дрожащий голос маршала Петэна, который объявил об окончательном

прекращении военных действий с двенадцати часов ночи: «Вступает в действие новый порядок.».

Мне удалось связаться с КП полка и затребовать транспорт, чтобы присоединиться к нашим. В полночь прибыли два больших грузовика; мы погрузились и поехали на этот раз с зажженными фарами. Я сидел рядом с шофером в первом грузовике. Этот человек, конечно же измотанный бессонными ночами, задремал и пропустил поворот. Грузовик въехал в лес и перевернулся, один солдат погиб, многие получили серьезные ранения. Мы похоронили несчастного и к 6 часам утра добрались до КП. Раненым немедленно была оказана помощь. Затем врач и его помощник - это по- прежнему был Луи Арагон - пригласили меня в свою комнату. В течение двадцати минут они объясняли мне, что же должно произойти. Они говорили о перемирии, правительстве Петэна, о некоем Лавале, о том, что собой представляет политика коллаборационистов, об антисемитизме - короче, об истинном политическом курсе фашистов. В тот момент я не был так удивлен, но впоследствии история показала, насколько замечательным был этот анализ своей прозорливостью и точностью предсказаний. Пора было кончать жить иллюзиями, отныне я знал, чего следовало ждать и чего опасаться. Но, увы, когда в Европе впоследствии возникали другие драматические моменты, оценки Арагона уже не отличались такой же проницательностью.

Я буквально падал с ног от усталости и заснул прямо на полу.

* * *

Так закончилась сорокапятидневная война, «блицкриг». Франция была побеждена, она переживала, быть может, самое страшное поражение в своей истории. Захваченная, наполовину оккупированная, страна административно и политически оказалась под властью победителя; ее промышленность и сельское хозяйство отныне работали на нужды Германии, почти два миллиона французских солдат стали военнопленными.

После стольких попыток разобраться в причинах этого поражения, предпринимавшихся другими, мне вряд ли стоит здесь заниматься тем же. В конце концов, историки пришли к единому мнению в главном: устаревшие стратегии, техника, не приспособленная к ведению маневренной войны, к быстрым действиям и решениям; очень плохое вооружение, неудовлетворительное использование существующих материалов; я не говорю уже об отсутствии связи, из-за чего мы оставались слепыми и глухими, о нашем демографическом неблагополучии и отставании в промышленности, о препятствиях политического

характера, порожденных отжившей парламентарной системой. Достаточно вспомнить процедуру назначения начальников штабов, требовавшую официального одобрения парламентов - метод отбора, более подходящий для одобрения дипломатической ловкости, нежели силы характера.

Много лет спустя, после того как *я* много читал и размышлял, мне кажется, что и сейчас было бы полезно извлекать уроки из тех событий.

Сначала о нескольких картинах, которые хранит моя память.

Неотступно вижу перед собой беспорядочные колонны людей, которые днем и ночью заполняют дороги Франции. Они бегут несчастные, обтрепанные, неся на себе или на крышах машин свой жалкий скарб. Мое сердце все еще сжимается при воспоминании об этих измученных, растерянных и голодных детях, во взгляде которых, одновременно невинном и приводящем в трепет, сквозило непонимание этого бессмысленного, бесполезного бегства.

Как-то я столкнулся с жителями одной одинокой фермы в тот момент, когда они готовились бежать на своих повозках. Мне удалось их отговорить, я им доказывал, что они меньше рискуют, оставаясь на месте. Как знать, оказался ли этот мой совет добрым?

В другой раз ко мне подошла пожилая пара, затерявшаяся в толпе беженцев, и мужчина попросил у меня бензин. Он держал в руках виолончель и казался совсем отчаявшимся. Я не смог воспротивиться соблазну сказать ему, что я - шурин Пятигорского, и по-дружески, как знак родственного взаимопонимания, протянул ему целую канистру бензина. Он был бы менее потрясен, если бы Зевс, сойдя с облака, протянул ему свою длань.

Мы переживали то время, когда логика утратила свои права. Мой кузен Ален как-то рассказал мне об одном примечательном случае. Войдя в деревню, только что подвергшуюся бомбардировке, и осведомившись, есть ли в деревне раненые, он услышал в ответ: «О нет, слава Господу, никто не ранен. Только военные!» Мы больше не были людьми, но, к несчастью, мы не были и богами!

Эту скорбную атмосферу дополняло звуковое сопровождение. Коров на пастбищах никто не доил, и несчастные животные тщетно взывали о помощи. Их протяжное и зловещее мычание служило аккомпанементом к той драме, которая была нашей жизнью.

В этом всеобщем хаосе, где бродила смерть, у нас еще оставался шанс быть на колесах, в то время как пехота - эта

зеница ока нашего войска - проводила дни и ночи в бесконечном марше. У меня перед глазами все еще стоят осунувшиеся и измученные лица этих несчастных горемык.

Когда я вновь и вновь думаю об этом времени, я восхищаюсь чудесами, возникающими среди всеобщего безумия: мы всегда были обеспечены бензином, никогда не были брошенными (даже ощущая себя таковыми) и никогда не теряли связь с командованием полка или дивизии. Какими бы невразумительными ни казались нам порой приказы, они всегда выполнялись, даже при ожесточенном противодействии врага. Мы никогда не ощущали нехватки еды; передвижные кухни всегда ухитрялись нас нагнать; обычно это было ночью. Хотя воровство и запрещалось, когда мы проходили брошенные деревни, надо признаться, нам случалось прихватить кое-что из необходимых продуктов, выбив решетку в покинутой бакалейной лавке. Хлеб, масло, джем, шоколад, белое вино - таковы были, в основном, результаты подобных «взломов». «Кто не спит, должен жрать!» - было девизом моих товарищей.

Перед лицом опасности действовали автоматически, подчиняясь приобретенным рефлексам. Инстинкт самосохранения стирался перед требованиями морали: нести ответственность, действовать, чтобы не было стыдно за свое поведение. Страх смерти отступил на второй план. Это зовется мужеством. Игнорировать страх или рисковать ради удовольствия мне всегда казалось неоспоримым свидетельством отсутствия воображения, если не доказательством невротической склонности к самоубийству.

* * *

Военное поражение было таким быстрым и таким тотальным, что долгое время это давало повод утверждать, будто никто не осмеливался сказать: французская армия слишком быстро покинула поле боя. Это правда, что в нескольких войсковых соединениях, разобщенных и окруженных врагом, подвергающихся регулярным бомбардировкам с воздуха, к которым они не были готовы, царила паника. Но сколько других сохраняли дисциплину, до конца выполняли приказы, неся тяжелейшие потери! Я говорю только то, что видел собственными глазами: до конца месяца у меня было впечатление, будто я переживаю какое-то необычайное и отупляющее приключение. Отрезанный от мира, на пределе нервного напряжения, до крайности усталый, раздираемый между чувством, что меня бросили, и долгом выполнять приказы, смысла которых я более не понимал, я удивлялся, что еще жив: из двадцати шести офицеров, насчитывавшихся в моем батальоне только трое

избежали ранения.

Впрочем, никто у нас не отличился дурным поведением, никто не отказывался участвовать в боях, не было случаев неподчинения приказам, никто не дезертировал. Позднее у меня тоже появился старый рефлекс корпоративного духа: «В кавалерии все - стреляные воробьи». И действительно, набор в кавалерию, даже в моторизованную, велся, в основном, путем призыва крестьян - людей, привыкших к тяжелой жизни, которые хорошо сражаются и не привыкли отступать.

Но так было не только в кавалерии. Например, в Дюнкерке я с удивлением констатировал, что «недисциплинированные и ворчливые» французы безропотно смотрели на то, как перед ними первыми проходили десятки тысяч англичан. Повиновение не обсуждалось, офицеры вели за собой солдат; испытывали страх все, но офицер не должен был это показывать.

И если в некоторых частях не наблюдалось духа того, что можно назвать «движение или смерть», сегодня я пытаюсь найти им оправдание. Слишком легко смеяться над воином 1940-го, труднее высмеять труса Истории. Поражение сослужило необыкновенную службу пропаганде режима Виши, который хотел возложить ответственность за поражение на Республику и Народный фронт, что было несправедливо и неверно.

Полезно напомнить одну только цифру: за сорок пять дней войны 92 000 погибших. О них забыли. Но подумаем: даже в самые тяжелые моменты сражений 1914-1918 годов численность потерь была не столь высокой.

Когда ими командовали с умом, солдаты 40-го были достойны своих предков. Во множестве ситуаций они проявляли такое же мужество, ту же готовность жертвовать собой, то же самоотречение. Но, к несчастью, все это не привело к тому же результату. Страна готовилась начать затянувшееся на годы одно из самых черных «путешествий» за всю свою долгую историю.

Закон о статусе евреев

Отрезанный от мира, я не знал, где находятся моя жена Алике и мои родственники. Мне пришлось ждать две или три недели, перед тем как меня демобилизовали - бесконечные и ужасно бессмысленные дни.

Конечно, моей семье удалось бежать от немцев, но где они теперь? Смогли ли они уехать из Европы и если да, то в каком направлении? Почтовая связь, наконец, наладилась, и я послал телеграмму моей сестре Жаклин, которая жила в Нью-Йорке. Так я узнал, что мои родители живут с ней. Алике и ее дочь вместе с другими членами моей семьи отправились в Аргентину.

Множество вопросов тогда волновало умы. Какую роль мог сыграть в войне французский флот? Следовало ли продолжать сражение в Северной Африке?

Мы находились в состоянии шока, и перемирие тогда нам казалось само собой разумеющимся. Оно спасало от плена миллионы людей, как думали мы, а свободная зона становилась убежищем. Французская армия имела право спокойно проводить там демобилизацию. Покинуть Францию и продолжать военные действия таким людям, как Петэн и Вейган, казалось, лишенным здравого смысла. Даже если они и не были настроены столь резко против англичан, не руководствовались злостью на политиков, позволивших втянуть Францию в войну, их позиция была общей для многих. Как и многие наши соотечественники, они бредили ценностями территориальными: Франция - это шестиугольник. Если земля родины оккупирована, то больше нечего защищать, ибо цель войны - предотвратить оккупацию. Сама мысль, что Германию, такую же мощную континентальную державу, как Франция, можно однажды победить вооруженными силами другой страны, казалась им весьма призрачной, поскольку они не могли представить себе великолепный потенциал англосаксов. Наполеона победили не одни англичане, но, объединив усилия, многие континентальные европейские страны. Чтобы выполнить эту миссию, оставалась Россия, но она только что предала нас. Поскольку офицеры старой Франции видели слабость нашей промышленности, они, конечно, были не способны представить себе современную военную индустрию и то, какова она в других странах.

Маршал Петэн с его ясным ликом, светлыми волосами и голубыми глазами - сама невинность - являл собой совершенный образ защитника вдов и сирот.

Я встречался с ним на охоте в Феррьере. Пожалуй, тогда он

выглядел каким-то робким, неуверенным в себе. Во время облавы он был вынужден оправдываться перед моей матушкой за то, что не удостоился чести, чтобы она наблюдала за его действиями; он как-то неловко извинялся, говорил, что у него «плохое ружье». У меня не было какого-либо предвзятого мнения на его счет, просто я испытывал инстинктивное недоверие к военным в правительстве. После нашего возвращения из Дюнкерка через Англию мои отношения с новым командиром моего батальона вызывали у меня странное чувство: это был человек дружелюбный и во всех отношениях корректный, однако проморансьенский и пропетэновский крен в его настроениях уже тогда рождали во мне неприятие. Его еще смутные призывы к ложному покаянию, к фальшивым добродетелям, его нетерпимость ко всему, что ему напоминало политику, парламентские дебаты - «говорильню» в его определении, - наводили меня на мысль, что он вряд ли мой единомышленник. Позднее, уже в самом начале моего пребывания в Виши, наблюдая, как, несмотря на поражение, высокомерно и претенциозно ведут себя эти военные, я лишь утвердился в этом своем впечатлении. С самого начала мне стало ясно, что, даже если забыть все сказанное Арагоном, Виши - это для меня нечто чуждое и враждебное.

Все народы, потерпевшие поражение в сражениях, склонны видеть в своих несчастьях перст Божий и видеть свое спасение в искуплении, предполагающем всяческие добродетели и спартанское поведение. А вся ответственность, своего рода роль дьявола, отводилась Народному фронту и левым силам. Божественная кара обрушивалась не только на прежнее правительство, но также на всех, кто за него голосовал, все они несли коллективную ответственность. Петэн и его правительство казались орудием этого божественного отмщения, которое должно избавить страну одновременно и от коммунистической угрозы, и от чужеродных влияний, в частности, влияний евреев. Темы национального унижения, подчинение лидеру своей крови вызывали почти религиозный трепет и находили отклик у каждого.

Я также подвергался критике, развернутой вокруг Народного фронта. Имена членов моей семьи можно было видеть в первых строках знаменитого списка Двухсот семей - своего рода классовых врагов. Был национализирован и «Банк де Франс», центральный банк Франции, одним из управляющих которого служил мой отец, и железные дороги, включая сеть железных дорог, принадлежащих «Компани дю Нор».

Но мир никогда не бывает только белым или только черным, и я старался не видеть в Блюме, Даладье или Рейно

ответственных за беды, свалившиеся на нас.

Я не слышал о призыве от 18 июня, и никто в моем окружении не говорил о нем. Но в конце июля распространился слух об обращении де Голля, призывающего французов не выходить на улицу с полудня до часа дня в знак протеста против немцев. В то время я находился в Экс-ан-Провансе и добровольно оставался в помещении в указанный де Голлем час, испытывая что-то вроде гордости за этот жест, который, еще не будучи символом верности, уже был знаком морального сопротивления.

* * *

Демобилизовавшись, я узнал, что мои двоюродные братья Ален и Эли находятся в немецком плену. Я проделал длиннющее путешествие, чтобы попасть в Бурбуль, проехал Лимож, потом Ош, где остановился у одного офицера, моего приятеля; мне пришлось сменить пять или шесть поездов, прежде чем я добрался до цели. Банк уже обосновался в Бурбуле, там уже были пара членов нашей семьи, большинство сотрудников, книги, счета, документы.

Все прошло без особых затруднений; следуя совету «Банк де Франс», резиденцией которого стал Шатель-Гюйон, местные власти сразу связались с Мюнхеном.

Мои помощники - Фийон и Ланглуа - установили контакт с Марен-Дарбелем, одним из наших сотрудников, оставшихся в Париже. На улице Лаффит, отведенной Комитету национальной взаимопомощи - новому правительственному органу, тем не менее сохранилось несколько контор, насчитывающих по семь-восемь служащих. Два раза в месяц Марен-Дарбель ухитрялся переправлять нам свой отчет с людьми, переходившими демаркационную линию.

Теперь, когда это время осталось далеко позади и когда мы знаем конец этой истории, можно задать вопрос: что должны были испытывать люди, родной очаг которых отныне был занят врагом, а возможно, потерян навсегда; те, кто неожиданно были демобилизованы и оказались в этом уголке Франции, единственном убежище, которое им осталось? Тогда, после ужасов войны, страха смерти и опасности попасть в немецкий плен, они испытывали какое-то чувство отдохновения, их охватило ощущение свободы. Катастрофа была слишком огромна, чтобы ее размеры можно было сразу оценить. Мы находились на знакомой территории среди наших соотечественников, единомышленников, и, тем не менее, мы были оторваны от всех наших связей - человеческих, географических, экономических, от привязанностей к привычкам, предметам. В лучшем случае будущее казалось покрытым мраком неизвестности. «В чужой

стране, в моей стране он все тот же», но никогда не чужой для своей страны.

Когда мы находили знакомого, родственника или друга, то всегда испытывали живую радость и облегчение. Это было началом возвращения к нормальной жизни, зародыш безопасности.

Перед войной, скорее по рассказам о ситуации в Германии, чем по откликам о происходящем в Советской России, я хорошо понял, что такое полицейский режим. Я никогда не ощущал подобного рода давления в свободной зоне, и - быть может, напрасно, - не испытывал страха перед надзором французской полиции. Я слишком любил своих соотечественников, да и правительство Виши казалось мне таким жалким и неэффективным, что я и подумать не мог, чтобы оно могло установить террор. Немцы - это другое дело. В оккупированной зоне жена Филиппа де Ротшильда, урожденная Лили де Шамбюр, которая не была еврейкой ни по крови, ни по религии, думала, что ничем не рискует. Несчастную арестовали просто из-за имени ее мужа и депортировали в Равенсбрюк, где она и погибла. После оккупации Южной зоны почти все члены моей семьи по материнской линии были депортированы в Германию и там в гитлеровских лагерях нашли свою смерть.

Членам моей семьи и ближайшим друзьям удалось перебраться в свободную зону, и они жили у нас. Среди них - Франсуа де Кастеллан - офицер моего батальона - с женой. Мы жили, словно спасшиеся после кораблекрушения, в тесном веселом кругу близких людей, почти беззаботно, склонные к легким шуткам, еще слепые, не знающие, что нас ждет впереди.

Когда погода позволяла, мы совершали долгие прогулки на велосипедах по горным дорогам. Транспорта почти никакого не было, изредка проезжали грузовики с газогенератором. Мы пытались кататься на лыжах, но единственный доступный спуск был длиной не более двухсот метров, так что игра явно не стоила свеч.

Записка из Парижа, письмо или телеграмма из Америки были событием. В этом изолированном от мира уголке война казалась ирреальной, и мы чувствовали себя очень далеко от Виши. Лишь однажды во время телефонного разговора у меня сложилось впечатление, что нас подслушивают, *я* тогда ужасно разозлился. Я обрушил свой гнев на проклятую «пятую колонну» и ее неизвестного шпиона. А этот самый шпион, вероятно, обидевшись, отключился, потому что связь снова стала нормальной.

* * *

Как-то утром, рассеянно просматривая газету - новости подвергались строгой цензуре, так что трудно было найти что-нибудь интересное, - я неожиданно увидел фамилию членов моей семьи, распределенных в пять колонок на одной строке. Я не мог поверить своим глазам, буквально задрожал от гнева.

Эти марионетки воспользовались поражением в войне, чтобы наказать Францию, осмелившись приговорить к лишению гражданства моих престарелых родственников - безупречных патриотов. Мотив, а точнее, оправдание этой акции было скорее лицемерным, нежели подлым, - они покинули Францию! Хорошенькое дело: ведь они слишком стары, чтобы делать что-то полезное для страны и отказались добровольно стать топливом для печей крематориев в немецких лагерях смерти. В конечном счете, и я, и некоторые другие тоже уехали из Франции. в Дюнкерк. Лишение гражданства Анри де Ротшильда вообще было настолько скандальным, что вызывало смех. Он уже давно покинул родину и жил в Португалии, затем, приехав в Бельгию, где шла война, он тут же вернулся обратно домой!

Декрет, согласно которому их лишали гражданства, вычеркивали из списка лиц, награжденных орденом Почетного легиона, конфисковывали их имущество, касался также и других, но мало кого по причине их отъезда из страны во время военных действий. Этот декрет появился по приказу Алибера - министра юстиции в первом правительстве Петэна. Кроме намерения уничтожить политиков, которые покинули Францию на борту «Массилии», чтобы попытаться, впрочем, продолжить сопротивление врагу, Алибер - патологический антисемит - особенно хотел расправиться с моей семьей, которую, как мне передали, он считал ответственной за свой провал на выборах. Он дошел до того, что в открытую заявил: «Этот декрет мне позволил поприжать Ротшильдов». (По справедливости нужно сказать, что общество, бывшее в курсе моего поведения во время военных действий и знавшее о судьбе моих кузенов, оказавшихся в немецком плену, способствовало изданию дополнительного декрета, по которому сыновья родителей, лишенных гражданства, которые служили в армии, могли вернуть себе часть конфискованного имущества их отцов. Получивший название «дополнение Ротшильда», этот декрет, впрочем, так никогда и не применялся.)

Несмотря на мое возмущение, я все же попытался найти ответы на массу вопросов, порожденных этой новой и неожиданной ситуацией: как это могло произойти? Кто несет ответственность за захват имущества и за его секвестрование? Буду ли я также изгнан из банка, хотя еще и являюсь

собственником совсем малой доли его капитала? Проходили недели, забот все прибавлялось.

И вот однажды - новая бомба: закон о статусе евреев.

Я прочитал текст закона, и меня охватило отвращение: мы больше не могли участвовать во всех видах деятельности, нас выбрасывали из общественной жизни. Величина списка запретных профессий не укладывалась в голове; псевдонаучные комментарии, которые были призваны оправдать декрет, доказать его справедливость, были тошнотворны и внушали одно только отвращение. Смягчающее впечатление от декрета должно было создать заявление, согласно которому этот статус не затрагивал ни личности, ни имущества евреев; оно имело зловещие последствия.

Лишение моего отца гражданства не оскорбило меня, но вызвало ярость. Постановление о статусе евреев было для меня невыносимо тяжко. В нашей стране, до сих пор просвещенной и либеральной, мы теперь были людьми третьего сорта. Еще немного, и у нас можно будет услышать грубую немецкую шутку «еврей в городском саду укусил арийскую собаку». Мы были изгоями, оскорбляемыми, обреченными на публичное преследование, отмеченными печатью позора.

Почему я не решил тут же покинуть эту страну? По сути дела, это было в принципе невозможно. Мои честь и достоинство были растоптаны, и я удивляюсь, что мне потребовалось столь мало времени, чтобы не только не принять эту роль парии, но ей противостоять. Я очень быстро почувствовал, что вне узкого круга антисемитов, с которыми я не имел дела, страна в целом отвергала это плохое подражание нацистам.

* * *

Первые дни после обнародования этого декрета у меня было впечатление, что все могли у меня на лбу видеть позорное клеймо. Это чувство быстро исчезло, поскольку оно не находило подтверждения.

Я не ощущал и того выражения снисходительного сочувствия, которое обычно проявляют по отношению к страдальцам.

И спустя довольно непродолжительное время, хотя в это и трудно поверить, но я больше ни о чем таком не думал. Конечно, я не единственный из евреев свободной зоны старался изгнать из головы все мысли об этом.

Каждый думал только о том, как достать продукты питания, как найти возможность связаться с оккупированной зоной, узнать какие-нибудь новости о пленных родственниках и друзьях, а все остальное, что не касалось забот повседневной жизни, отступало на второй план. И это, быть может, позволяло на время забыть

трагическую ситуацию, в которой оказалась наша страна, но в то же время нас нисколько не интересовала и судьба наших соседей. Сегодня мы поражаемся, констатируя тот печальный факт, что французы свободной зоны почти не реагировали на ужасные условия интернированных, на положение республиканцев Испании, евреев других стран. из лагеря в Гарсе. Вина правительства Виши неоспорима, но нужно сказать, что многие французские евреи тоже закрывали глаза на происходящее и не обременяли себя этим вопросом. Я продолжаю думать, что в душе французы не были антисемитами, но, поддавшись настроениям ксенофобии, они мало переживали, когда массы евреев эмигрировали из Центральной Европы. Некоторые даже воспользовались ситуацией в оккупированной зоне, чтобы донести на своих личных врагов, выдать своих конкурентов, делая это отныне с чистой совестью, имея «официальную» поддержку.

Конечно, в некоторых социальных слоях антисемитизм был более злобный, чем в других; я думаю таким он был по отношению к врачам; разумеется, французы, как и многие другие, старались не думать о том, чем они рискуют, уж слишком беспокоя медиков. Но многие помогали евреям, прятали их, чего не было в Германии, даже когда начался террор гестапо .

Так или иначе, но этот декрет остается одним из самых постыдных эпизодов истории нашей страны.

Месяц спустя моя жена Алике решила вернуться во Францию, несмотря на статус евреев, несмотря на жестокие меры, предпринятые против моих родителей. Опасаясь, что она попадет в ловушку, я долго противился ее возвращению. С ее стороны это был акт мужества, так как она полностью брала на себя ответственность, как никто другой зная всю серьезность риска. Я должен был ее встретить у испанской границы, и мне следовало учесть, что в ее сознании французы стали пособниками немцев и, стало быть, нашими врагами. Она не могла понять, почему я «сохраняю иллюзию», почему не вижу, насколько отчаянной была ситуация. К счастью, два случая, происшедших с нами во время нашего возвращения, показали, что я все-таки был не совсем неправ.

Нас остановил жандарм и потребовал предъявить документы на машину и мои водительские права. От этой проверки мы не ожидали ничего хорошего и с тревогой смотрели, как служитель порядка проверяет наши документы. Вдруг он сказал:

- Большая честь для меня встретить члена семьи, такой знаменитой и уважаемой.

От нашей тревоги не осталось и следа, мы с Алике улыбнулись ему тепло и приветливо.

В тот же день, через несколько часов после этой встречи, мы остановились перекусить в маленьком ресторанчике при гостинице, никто на нас не обратил внимания и не заметил нашего прихода; и гости, и хозяева, собравшись в углу зала, слушали новости «Лондонского радио». Это был один из тех редких моментов в моей жизни, когда я с радостью готов был ждать как угодно долго, когда мне подадут еду!

В действительности не оккупированная зона была Францией в миниатюре, и мало что изменилось в привычках ее жителей и в их отношениях друг к другу. Все разделяли одни и те же трудности, и это в каком-то смысле всех сплачивало, поражение делало всех братьями по несчастью. Коллаборационизм не ощущался как реальность - до тех пор, пока немцев не было рядом.

Движение Сопротивления еще действовало в глубоком подполье, и население заметило его только после вторжения немцев в Россию и, еще более, после высадки американцев в Северной Африке, когда немцы уже оккупировали всю страну.

Я не встречал никого, кто бы осмелился показать, что он на стороне немцев. Однако не все французы были того же мнения. Они делились на тех, кто видел одно лишь поражение и не далее того, и тех, кто возлагал все свои надежды на Англию, на далекую и почти неправдоподобную победу.

* * *

Моим первым демаршем было отправиться в Виши, для встречи с каким-нибудь ответственным чиновником, чтобы не оставить все семьи наших бывших служащих на произвол судьбы, поскольку они не имели никаких средств, кроме пенсий, которые им добровольно отчисляли мой отец, мои дяди или банк. Мой собеседник под конец переговоров согласился продолжать выплачивать те же суммы из банковских авуаров, конфискованных государством.

Большая часть недвижимости моей семьи находилась в оккупированной зоне, и немцы захватили ее, отказав французским властям в праве контроля. Так была захвачена улица Сан-Флорантен, и особняк на авеню Фош, и особняк, принадлежавший моей сестре. Наш замок Феррьер стал местом отдыха немецких войск, которые чувствовали себя там вольготно и не желали, чтобы их там беспокоили. Все предметы искусства и лучшие из полотен фамильной коллекции из собраний, находившихся в Париже и в замке, были отправлены в Германию несомненно по распоряжению Геринга, который рассчитывал их присвоить.

Мои родители, сами того не желая и считая, что поступают

наилучшим образом, помогли немцам. Обеспокоенные перспективой войны, все более очевидной, мои родители распорядились упаковать и поместить в бомбоубежище самое ценное из того, что уже долгие годы именовалось «коллекцией Ротшильдов»; большая часть этой коллекции была собрана моим дедом Альфонсом.

К счастью, вся коллекция осталась не разъединенной, и в 1945 году союзническая миссия, в которую входили американские и французские музейные работники, обнаружила ее на дне соляной копи. Что касается лошадей, вывезенных в Германию для улучшения пород немецких лошадей, то служащим конезавода тоже удалось возвратить большую их часть благодаря наличию специальных книг с описанием примет и, надо сказать, по доносам самих немцев, которым хотелось получше выглядеть в глазах союзников. Как видим, доносительство свойственно не одним только французам.

Собственность, находившаяся в свободной зоне, была конфискована властями. Так, вилла моих родителей в Каннах оказалась «купленной» городом.

Основными видами собственности были банк и ценные бумаги.

При этом в моем владении оставалась только моя часть собственности. Хорошо, что назначенные властями чиновники не слишком усердствовали. В массе своей они были настроены против немцев, а многие из них уже успели стать голлистами. В конце концов, власти, не будучи в состоянии разобраться в столь сложных делах моей семьи, оставили мне руководство этой акцией.

Правительство распорядилось выставить на продажу всю собственность и ценные бумаги моей семьи. Однако покупателей не находилось. Моим сотрудникам все-таки удалось отыскать клиентов, большинство из которых согласились передать нам предварительные заказы, предусматривающие последующий выкуп собственности в будущем, когда «Ротшильдам вновь улыбнется фортуна». Таким образом большая часть пакетов ценных бумаг оказалось в руках друзей.

Принятием решений относительно банка занимался чиновник по фамилии Моранс. Он начал с того, что изучил всю ситуацию и продиктовал секретарю длинный отчет. Секретарь, печатавший этот документ, менял копирку каждый раз, когда кончался очередной лист бумаги. Благодаря этой хитрости, с помощью зеркала я познакомился с содержанием этого текста. Выдержанный в нейтральном духе, он был не добрым и не злым, его автор явно стремился избежать лишних неприятностей.

Моранс действовал в соответствии с законом, но без излишних придирок, он вел себя учтиво и не старался чересчур усердствовать, чтобы разделаться с нами.

Как и многие из моих знакомых, я подумывал об отъезде, - прежде всего я хотел навестить моих родителей. Вопрос о том, где и как вновь начать участвовать в военных действиях, встал передо мной несколько позднее. Решение уехать далось мне не так легко. Уехать - означало покинуть моих соотечественников в тяжелое для них время; быть может, я просто придумываю себе причины, чтобы оправдать бегство в Америку, где меня ждут комфортная жизнь и безопасность. Явно действовала вишистская пропаганда: уехать - значит дезертировать. Я чувствовал свою вину перед друзьями, которые были обречены оставаться. В то же время у меня не было чувства, что я «предаю родину», я испытывал ненависть к нацистам.

Рене Фийону - моему прежнему наставнику, моему сотруднику и другу, по- видимому, необходимо было утвердиться в качестве патриота Франции, истинного француза. Он мне постоянно повторял, что я напрасно всерьез воспринимаю декрет о статусе евреев, призывал не верить в возможную оккупацию свободной зоны, в то, что мне грозит хоть какая-то опасность. Он считал, что продолжение борьбы для меня не более, чем красивая фраза, которая простейшим образом помогает мне обрести моральное спокойствие, и, пожалуй, он тоже был недалек от мысли, что покинуть Францию - то же самое, что «перейти на сторону врага».

До сих пор эта дилемма тех лет меня удивляет. Как мог я из щепетильности замкнуть себя в кругу ложных проблем? Ведь оставалось так мало времени для серьезных решений, касающихся как работы, так и собственно моей жизни! Я все еще не понимал таких простых истин, что из двух решений следует выбирать менее плохое, что все не могут думать и действовать одинаково и что, выслушав мнения других, нужно прислушаться к собственному мнению и поступать только так, как подсказывает собственный разум.

Какое-то время мы с Алике колебались, но постепенно сомнения сами по себе исчезли.

Мы приняли решение, но его еще следовало как-то претворять в жизнь. Чтобы уехать из страны, требовалось оформить документы, получить американскую визу. Эта последняя формальность была самой простой благодаря добрым отношениям моих родителей с госпожой Рузвельт. Совсем другое дело - французы. Закон запрещал выезд из страны граждан призывного возраста. Я довольно быстро понял, что в отношении

евреев, граждан для страны нежелательных, допустимо отступление от этого закона. Но мое имя было слишком знакомым для страны, и адмирал Дарлан боялся, что немцы осудят его действия, если он позволит мне покинуть пределы Франции. (Я узнал об этом только благодаря другу, Мигелю Анхелю Каркано - послу Аргентины во Франции.)

* * *

Я занимался всеми этими проблемами, когда представилась возможность поехать в Марокко, где моя семья имела ряд предприятий. Весной мы с Алике сели на теплоход, отправлявшийся в Касабланку. Нам стало известно, что комиссию по перемирию в Марокко возглавлял немецкий дипломат по фамилии

Ауэр, которого Алике и ее первый муж знали еще до войны. Она вспомнила, как тогда Ауэр открыто говорил о своих антифашистских настроениях, одобрял свободные высказывания, всякий раз демонстрируя свою осведомленность. Мы решили поговорить с этим человеком, если удастся с ним увидеться. Судьбе было угодно, чтобы мы встретили его сразу по прибытии в отель, и он пригласил нас к себе на стакан вина.

Ауэр только что вернулся из Берлина, он сказал нам, что ходят упорные слухи - Германия должна напасть 22 июня на Россию. Уже на следующий день я передал молодому американскому консулу в Марокко сведения, которым суждено было стать одними из важнейших за всю войну. Никто не принял их во внимание, впрочем, весьма вероятно, что эти сведения уже опоздали. После войны Роберт Мэрфи - тогдашний посланник в Северной Африке - потребовал провести расследование причин такой халатности. Что касается нас с Алике - мы были просто ошеломлены, услышав 22 июня по радио подтверждение этой важной информации.

Спустя некоторое время мы приехали на несколько дней в Марракеш. В холле отеля «Мамунья» группа итальянских офицеров в открытую шумно обсуждала молниеносное наступление армии союзника. Их радостное возбуждение казалось нам чудовищным.

После нескольких недель пребывания в Марокко мы поняли, что у нас нет шансов получить разрешение на выезд или просто убежать - здесь за нами следили еще более пристально, чем во Франции. Уладив дела моей семьи, я впал в полнейшее отчаяние; я не знал, что предпринять; мне оставалось только читать газеты. Редкие обеды с Мишелем Дебре - моим другом детства - и его женой Нинетт были для меня праздником и некоторой моральной поддержкой.

Мы уже решили возвращаться во Францию, когда узнали, что министром внутренних дел только что назначен Пьер Пюшё. До войны я много раз встречался с ним, будучи посредником в переговорах по поводу одного соглашения. Мы остались с ним в дружеских отношениях. Он был тесно связан с группой Вормса - этими опередившими время технократами; мне он показался человеком энергичным, честным и, в то же время, умным и рассудительным. Через одного из многих сотрудников, близкого друга нас обоих, я обратился к нему с просьбой о выездной визе. Через некоторое время я получил мой паспорт с припиской Пюшё следующего содержания: «Евреи принесли слишком много зла моей стране, но Ги всегда был добропорядочным гражданином; если ему суждено начать свою жизнь сначала, я счастлив позволить ему уехать». Благоприятная оценка моей скромной персоны делала какие бы то ни было комментарии недопустимыми.

В ответ я ему передал мой совет, как можно скорее прекратить борьбу с участниками движения Сопротивления и с коммунистами, если он дорожит своей жизнью. Около двух месяцев назад одного из его сотрудников нашли убитым в открытом поле. После высадки американцев в Северной Африке в ноябре 42-го года Пюшё обратился с просьбой разрешить ему присоединиться к Африканскому корпусу, и Гиро с легкостью согласился. Чем это кончилось - известно. Он был осужден военным трибуналом и расстрелян.

Бегство в Америку

В октябре 1941 года мы с Алике через Испанию добрались до Португалии и оттуда на скоростном трансатлантическом самолете вылетели в Нью-Йорк. Как и все, я подписал документ, где заявлял, что мне известен закон, по которому каждый француз, вступивший добровольцем в иностранную армию, приговаривался к смерти - между строк следовало читать имя де Голля. Я видел в подписании этого документа одну лишь формальность.

Я впервые летел через Атлантику. Я был свободен, летел навстречу новой жизни, но тревога не покидала меня. Издалека маленькая свободная зона казалась еще меньше, еще беззащитнее. Я по-прежнему ощущал себя ее частью, продолжал с нежностью думать о тех, кто там остался, и беспокоиться за них. Но Америка означала безопасность для Алике, радость вновь увидеть моих родителей и сестер. Америка открывала мне возможность действовать.

Я только начинал жить, постигая опыт борьбы; это был очень важный этап. День за днем я брал на себя ответственность в тяжелейших условиях войны. Рядом со мной не было родителей, готовых меня поддержать и защитить, именно с этих пор я почувствовал себя взрослым.

В эти месяцы я узнал другую сторону жизни, быть может, впервые столкнулся с трудностями и раз навсегда понял, что, какие бы социальные блага и привилегии мне ни были дарованы судьбой с самого рождения, я остаюсь не более чем евреем, таким же, как любой другой еврей.

Для молодого француза, привыкшего к замедленному ритму жизни Франции до 1939 года, и лишь однажды, да и то мельком видевшего Нью-Йорк, жизнь в этом городе являла собой поразительный контраст. Полные энергии люди, легкость, с которой удавалось реализовать любое начинание, множество всевозможных товаров и, в особенности, изобилие продуктов - от всего этого у меня кружилась голова.

Естественно, я ожидал, что все французы и американцы единодушно поддерживают англичан и голлистов. Каково же было мое удивление, когда на меня обрушилась целая лавина самых разнообразных и самых противоречивых мнений, я выслушал самого разного толка суждения и сомнения, в особенности, относительно голлистского движения. Я встретил французов, которые обожали маршала Петэна и все еще верили в его мужество и честность. Были и другие, еще не составившие

определенного мнения о генерале де Голле. Мне довелось неоднократно выслушать мнение о том, что де Голль всего лишь политический авантюрист, окруженный маргинальными элементами, экстремистами как левого, так и правого толка. «Свободная Франция» казалась им образованием типично французским, то есть сугубо политическим. Многих, хотя и патриотически настроенных, пугало присоединение к «Свободной Франции», это означало для них оказаться втянутыми в конфликты, которые их не касались, заставляло их сделать политический выбор, вместо того чтобы просто поступить на военную службу. Многие из них вскоре после появления на политической арене Гиро присоединились к нему, рассчитывая ограничиться участием в войне, ничем себя не скомпрометировав. Кроме того, в Нью-Йорке и в Вашингтоне не было недостатка в голлистах, занимавших в движении определенные должности, которые лишь сеяли семена сомнения в умах; одни - своей нетерпимостью и ограниченностью, другие - своей критикой в адрес главного штаба в Лондоне, разоблачая интриги в верхушке организации, эгоизм и бездарность ее руководителей. В американских и даже английских политических и деловых кругах все повторяли, что я мог бы принести несравненно больше пользы и играть более значительную роль в англоамериканской орбите действий, нежели состоя в рядах «Свободной Франции».

Политика американского правительства положила конец всем колебаниям и сомнениям. Оно сохранило постоянные контакты с Виши, послало туда адмирала Лейхи, человека достойного и уважаемого. Цель этих действий была ясна - сделать все, чтобы ограничить эффективное участие Франции в помощи военной машине Германии и, в особенности, не допустить использование противником французского флота. Хотя все это я понимал, но согласиться с этим было трудно, во всяком случае и президент Рузвельт, и госдепартамент по-прежнему враждебно относились к де Голлю. Напряженность в отношениях между Рузвельтом и де Голлем достигла кульминации, когда адмирал Мюзелье от имени «Свободной Франции» захватил Сен-Пьер-э-Микелон. Совершенно очевидно, чтобы сдерживать «коллаборационизм» Петэна, Лейхи обещал ему, что Америка защитит французские владения на американском континенте.

Какой бы разумной и прагматичной ни была эта политика, становилось невозможно оставлять без внимания эмоциональную сторону конфликта между сторонниками и противниками голлизма.

Кроме того, Рузвельт и де Голль были людьми совершенно разного склада и темперамента. Первый - человек гордый,

исполненный осознания мощи великой страны, которой он управлял, не мог ни принять, ни понять генерала, столь же гордого, как и он сам, но лишенного войска, которое бы его поддерживало, и тем не менее не покоренного. Каждый из них был по-своему прав: Рузвельт, оттягивая время, вступая в контакт с правительством Виши, даже если делая это, он ранил чувства всех противников нацизма, и де Голль, пытаясь мобилизовать, используя свое имя и свой авторитет, здоровые силы нашей страны и обеспечить ей шансы на послевоенное развитие. Рузвельт играл на настоящее, де Голль - на будущее. Когда позднее правительство Виши потеряло всякое доверие, противодействие Рузвельта де Голлю больше не имело оправдания и превратилось в достойное сожаления мелочное преследование личного соперника.

* * *

Если вернуться к французу, оказавшемуся в Нью-Йорке в конце 1941 года, то легальное существование правительства Виши оставалось для него источником тревоги. Это правительство управляло свободной зоной и колониальными территориями; его можно было презирать, но нельзя было игнорировать. Мои соотечественники, придерживаясь столь разных мнений, оказывались едины в одном - все они были законопослушны в своих отношениях с государством. Они уважали законность государственных институтов и стремились сохранить единство идеализируемой ими страны, какой была для них Франция. Правительство Виши владело атрибутами такой, пусть и спорной, законности, и ни один француз в лагере союзников не считал себя вправе предъявлять ему претензии. Предоставленные сами себе французы Америки пребывали в нерешительности. Некоторые даже, отказываясь делать выбор, вступали добровольцами в американскую, канадскую или английскую армию. Один уважаемый сотрудник дома Картье, видя весь этот разброд, выступил с некой злополучной инициативой: он предложил добровольцам обратиться к правительству США с просьбой выбрать французского «лидера»-военачальника и затем записываться к нему в армию. Эта инициатива не имела никакого успеха и получила название «Всеобщий Картье».

Нетерпимость одних французов по отношению к другим была столь велика, что мои слова, сказанные журналистам сразу после моего приезда из Франции, были злостно истолкованы. Я непредвзято заявил, что маршал Петэн еще не утратил популярности, что очень многие искренне верят в его желание перехитрить немцев и оттянуть время. Банальные истины, но

журналистам оценки и суждения эмигранта хотелось видеть только белыми или же только черными.

Оказавшись в водовороте противоречий и сомнений, я заставил себя критически взглянуть на голлистскую прессу. И тут я ухватился за представившуюся мне возможность повидаться с Алексисом Леже. Мы как-то встречались с ним до войны, и теперь я ждал этой встречи. Мне хотелось поговорить не с поэтом Сен-Жон Персом (псевдоним Леже), но с бывшим ответственным секретарем Министерства иностранных дел. Его мнение тоже было небезынтересно, хотя все в Нью-Йорке знали, что в отношении Лондона у него нет твердой позиции.

Он принял меня очень любезно, и я до сих пор еще слышу этот удивительный голос, его речь с легким креольским акцентом: «Во всяком случае, в этом генерале привлекает то, что он не строит из себя политика; это отсутствие политического опыта придает ему особый колорит, в нем есть что-то свежее.»

Он говорил как-то шутливо, как будто о чем-то по сути своей совсем несерьезном.

Эта история приобретает особый смысл, если вспомнить яростное противодействие де Голля избранию Сен-Жон Перса во Французскую Академию, но это было уже позднее. Похоже, Генерал выносил суровый приговор, не подлежащий обжалованию, всем, кто не поддерживал его полностью и безоговорочно, в особенности в тот момент, когда их голоса были для него такими ценными.

Желая разобраться в особенностях американского законодательства, я встретился с адвокатом моих родителей Абе Бьенштоком, человеком пылким и восторженным, но в то же время очень энергичным и удивительно жизнестойким. Он оставался моим другом до самой его недавней смерти. Мой отец и дядя Робер снимали маленькую контору из трех комнат на Пятой Авеню, где молодой человек из Голландии по имени Петер Флек пытался распутать сложные хитросплетения документов, заполнял многочисленные декларации, приводя в порядок дела моей семьи. *Я,* как мог, помогал ему, используя деловые бумаги, которые привез с собой. Тогда мысленно я был далеко, предвидя, как после войны наш скромный кропотливый труд принесет свои плоды и из крохотной клеточки разовьется могучий организм сильного финансового учреждения в Америке, учреждения, которому я посвящал все свое время после национализации нашего банка во Франции.

В конце войны Петер Флек совместно с двумя голландскими партнерами основали консалтинговую фирму. Она процветала, и двадцать пять лет спустя мы смогли продать ее на выгодных

условиях. В 1967 году при моем содействии эта консалтинговая фирма была преобразована в «Инвестиционный банк». Наши английские кузены охотно к нам присоединились, и таким образом был создан «Нью-Корт секьюритис» (Нью-Корт - это название здания в Лондоне, где нашел убежище банк Ротшильдов). Это учреждение медленно, но стабильно и планомерно развивалось вплоть до 1981 года, когда произошел конфликт с его президентом - генеральным директором, который в середине года нас покинул. Тогда было решено, что его место займут Ротшильды. Мой кузен Эвелин - председатель лондонского банка «Н. М. Ротшильд и сыновья» - и я стали сопредседателями. Отныне общество называлось «Ротшильд инк.», и именно оно впоследствии дало французской ветви моей семьи возможность вновь занять достойное место в финансовом мире.

* * *

После нападения на Перл-Харбор Америка оказалась на пороге войны. Но поскольку во Франции существовала свободная зона, *я* по-прежнему призывал поддерживать отношения с правительством Виши. На примере одного печального инцидента можно показать, как в то время относились к французам. Великолепный пассажирский теплоход «Нормандия», купленный Соединенными Штатами у Франции, находился в Нью-Йоркском порту, когда на борту его вспыхнул пожар. Французский инженер-конструктор этого корабля оказался тут же на месте и, лучше кого бы то ни было зная это сооружение, предложил свои услуги в борьбе с огнем. Но он был французом, а значит, ему не доверяли; от услуг инженера отказались, и «Нормандия» сгорела дотла.

В то время как Соединенные Штаты с удивительной быстротой занимались мобилизацией своих людских и материальных ресурсов, я не прекращал думать о том, как продолжить борьбу, и мало-помалу освободился от противоречивых мыслей, которые до сих пор не покидали меня.

По правде говоря, за это время не появилось чего-то нового и значительного, что прояснило бы для меня положение дел; я продолжал испытывать влияние голлизма, он по-прежнему привлекал меня. Я повиновался импульсу по другой причине. В какой-то мере это было дерзкое решение, в то время как выбрать Гиро было бы решением мудрым. Когда я записался добровольцем, от меня не скрыли, что оформление документов английской стороной потребует времени. Кроме того, моя отправка в Европу возлагалась на Англию, которая не имела ни малейших причин предоставлять какие-то привилегии нескольким французским добровольцам.

В конце 1942 года американцы высадились в Северной Африке. Все ожидали, что власти Виши будут быстро изгнаны с этих территорий. Мой отец особенно волновался за судьбу алжирских евреев: правительство Виши недавно отменило декрет Кремьё, по которому с 1870 года они становились гражданами Франции. Местные власти оставались вишистами и ничего не предпринимали, между тем как американцы не решались оказывать на них давление. Мой престарелый отец, уже далеко не здоровый, лишенный положения и влияния, охваченный силой почти пророческой, имел мужество протестовать. После недель ожидания и разочарований он потерял терпение и написал тогдашнему Государственному секретарю Самнеру Уэлсу длинное письмо, в котором он разоблачал несостоятельность американцев в столь важной области. По-видимому, он затронул очень чувствительную точку, поскольку этот политик ответил открытым письмом, где утверждал, что обвинения моего отца ложны, при этом слово «ложь» присутствовало в письме неоднократно. Вскоре алжирские евреи вновь получили французское гражданство. Это была победа голлистов, поскольку большинство руководителей еврейской общины Северной Африки во многом помогало войскам союзников. Во всяком случае, в глазах американцев мой отец вернул себе доверие. Его жест скорее отвечал моральному долгу, нежели каким-то политическим целям. Отец действовал в соответствии с пронесенной сквозь годы семейной традицией, согласно которой защищать евреев всегда и везде - это священный долг каждого члена нашей семьи. Я поклялся никогда не забывать этот поступок отца.

После разрыва дипломатических отношений между Америкой и Францией «французское консульство», естественно, превратилось в «консульство «Свободной Франции». Во всяком случае, в новой книге записей мой недавно родившийся сын Давид был записан под номером 1, а Жерар - сын моего друга Жофруа де Вальднера, который предпочел присоединиться к Гиро, был записан под номером 2.

Одним из первых демаршей, предпринятых мной после того, как я записался добровольцем, был поход к единственному в городе портному-французу, которому я заказал военную форму.

Меня предупредили, что пригласят.

Я не подозревал, что ждать придется так долго.

На грани гибели

Французские власти всегда отличались своей медлительностью. Ни война, ни пример быстро и эффективно работающих американцев ничего не изменили. Когда уже все мои документы были подписаны, пришлось долгие месяцы ждать, когда мне соблаговолят указать, в какой день и час, в каком месте и каким образом *я* должен присоединиться к отрядам «Свободной Франции».

Наконец, настал день, когда меня попросили немедленно быть готовым к отплытию.

Я побросал в кофр пижаму, что-то из туалетных принадлежностей, документы, свидетельство о записи в добровольцы, один-два дорогих мне сувенира. И это всё, так как нам рекомендовали взять с собой минимум вещей.

Алике проводила меня в порт, и в своей новой военной форме я сел на «Пасифик Гроув» - маленькое грузовое судно водоизмещением примерно семь тысяч тонн, нагруженное явно сверх меры мясом и танками, как я потом сказал «маслом и пушками»! Экипаж с равнодушным видом заверил нас, что, если наше судно будет торпедировано, оно разломится пополам и тут же пойдет ко дну, все это займет не более 90 секунд. Эта цифра осталась у меня в памяти, поскольку мне ее неоднократно повторяли и каждый раз с той же предельной точностью - 90 секунд!

На борту находилось восемнадцать пассажиров. Среди них два француза моего возраста, которые присоединились к де Голлю: одним из них был Морис Менье - жизнерадостный и великодушный парень по профессии парфюмер. Была еще очень симпатичная пара англичан, он - бывший офицер авиации, получивший ранение во время военных действий во Франции; молодая американка Максин Миллер, сотрудник секретного Управления стратегических служб, хорошенькая блондинка, немного застенчивая. Я иногда переписываюсь с ней через годы и расстояния. Еще один англичанин, кажется, дрессировщик медведей или же собак.

Когда мы покидали Нью-Йорк, командир объяснил нам, что нас ожидает. Вдоль побережья мы должны дойти до Канады и на широте Галифакса присоединиться к конвою.

Пересечь Атлантику в то время было очень непросто, такое плавание было сопряжено с немалым риском - моря контролировали немецкие субмарины. По правде говоря, для немцев это уже становилось началом конца, поскольку радары и

успехи американской авиации стали менять ситуацию. И охотникам скоро предстояло превратиться в дичь, как это показано в замечательном немецком фильме «Корабль», вышедшем в 1982 году.

Самолеты, летающие на дальние расстояния, базирующиеся на Новой Земле и в Канаде, эскортировали нас в течение трех дней.

Они летели медленно и имели возможность засекать субмарины противника благодаря темным точкам, какими те казались на поверхности воды. Тогда самолеты сбрасывали бомбы и вынуждали субмарины «зарываться в землю», если можно так сказать! Затем должна была состояться замена воздушного эскорта другими эскадрильями - английскими и ирландскими. Но между двумя патрулируемыми зонами оставалось пространство, недоступное для самолетов, и здесь был решающий момент, так как на этом пространстве, этой незащищенной «дыре», вражеские субмарины могли нас выследить, ничем не рискуя. Переход через эту опасную зону должен был продолжаться два дня.

В конце марта, когда мы покидали порт, в Нью-Йорке еще стояли зимние холода; они становились все более чувствительными по мере нашего продвижения на север. На широте Галифакса корабль покрылся наледью. Это было красивое зрелище, но у нас не оставалось свободного времени, чтобы им любоваться: обледеневшая палуба становилась опасной при отработке порядка эвакуации, тренировки повторялись по многу раз в день. Каждый из пассажиров был приписан к одной из двух спасательных лодок, расположенных одна с левого, другая - с правого борта; лодки крепились канатами над водой и были легко доступны для использования. Каждая могла вместить человек двадцать. Палубы покрывали плоты, скрепленные только морскими узлами, за которые следовало лишь потянуть, чтобы их развязать. Эти плоты были сделаны из деревянных брусьев с промежутками между ними; брусья крепились на что-то наподобие бочонков, служивших поплавками. Эти бочонки устанавливались на деревянную платформу. Нас обучали в случае необходимости размещаться на этих брусьях, прямо над водой, поскольку никаких бортов не было, или же пролезать между брусьями и ложиться плашмя на платформе.

Занятия по учебной тревоге, на которых мы отрабатывали выгрузку с корабля, проводились снова и снова; вскоре каждый из нас отлично знал, что и когда он должен делать, и мы немного успокоились. Но все же эти «90 секунд» постоянно вертелись у меня в голове .

В районе Галифакса сформировался конвой. Он оказался

совсем иным, нежели я себе представлял; в отличие от конвоя военных грузовиков, где машины следовали гуськом друг за другом, корабли продвигались волной вперед, борт к борту, чтобы стать наименее уязвимой мишенью при нападении, которое на море осуществляется только с фланга. Мы построились в три ряда, каждый ряд был довольно длинным; с правой стороны первой линии мы не могли увидеть последний корабль слева, который исчезал за горизонтом. Хотя третий ряд был не доукомплектован, конвой насчитывал около шестидесяти кораблей.

Второй ряд, казавшийся довольно близким от нашего, следовал на расстоянии более трехсот метров. Я случайно узнал, что следующий за нами английский корабль буквально начинен боеприпасами и взрывчаткой и представляет собой настоящую плавучую бомбу; таким образом, положение нашего корабля на фланге оставалось самым опасным. На этот раз судьба отвернулась от нас. Моряки как будто получали удовольствие, постоянно твердя нам, что мы вытянули плохой номер. Возможно, так они старались себя немного подбодрить.

Жизнь на судне быстро стала для нас привычной. Обледенелая палуба мало подходила для прогулок, и единственным местом, где можно было собраться, оставался маленький офицерский салон в правой части палубы, иллюминаторы которого были тщательно задраены и прикрыты деревянными щитами, чтобы сквозь них не проникал наружу даже малейший свет. Когда наступал вечер, мы, как могли, убивали время за беседами, игрой в карты или другими играми, принятыми в обществе.

Кроме защиты с воздуха, нас сопровождал эскорт из трех или четырех британских корветов и одного эсминца «Свободной Франции», они нас поистине «пасли» (это слово здесь более всего подходит), постоянно сновали туда и обратно, как пастушеские собаки вокруг стада овец.

* * *

Переход начался без происшествий. Погода стояла пасмурная, но по мере приближения Гольфстрима становилось все теплее и теплее. А тем временем мы оказались в водах опасной зоны. Море было ровным и спокойным, иногда набегала легкая зыбь, как спокойное дыхание спящего. На небе ни облачка. Спустилась ночь, и вскоре вышла луна. Но, увы, это великолепное зрелище, которое могло вызвать романтическое настроение, эта дивная погода создала врагу идеальные условия для нападения на нас.

На следующий день тревожное ожидание не покидало нас с

момента вступления в опасную зону. Этому способствовали и взрывы, раздававшиеся с равными интервалами - это наш эскорт бросал глубинные бомбы. Я не знал, делалось ли это с целью запугать противника или же субмарины действительно были обнаружены. Глухой шум и сухой треск сопровождались легким дрожанием корпуса корабля, так вода отражает всякий взрыв, даже дальний. Не было ничего ужасного, но ничего, что могло бы ободрить, тоже не было.

Последние двадцать четыре часа, как нам это не уставали повторять, были самыми опасными. День медленно подходил к концу, но мы знали, что впереди «самая длинная ночь». Чтобы нас не застали врасплох в каютах, мы решили, что не будем ложиться спать, останемся одетыми, готовыми к любой неожиданности в маленьком салоне на палубе.

Восемнадцать часов. Нельзя сказать, чтобы мы чувствовали себя особенно комфортно, но, пожалуй, немного лучше; невзгоды нас сплотили, и мы держались вместе, как стадо овец в грозу.

К шести часам вечера капитан отдал приказ: «Последний глоток вина», затем последовали новые указания: «Вам не разрешается расставаться со спасательными жилетами, даже чтобы пойти в туалет. Постоянно иметь жилет не далее, чем на расстоянии вытянутой руки». Воцарилось некоторое оживление.

После ужина кое-как поддерживали разговор, старались говорить беззаботным тоном, несмотря ни на что, пересыпая речь крупицами черного юмора, подавляя тем самым чувство тревоги. Но темы разговора как-то быстро сводились к морю. И снова мы оставались в напряженном ожидании. Вновь я вижу себя затянутого в военную форму, рядом мой спасательный жилет, непромокаемый плащ и маленький вещмешок с одной сорочкой на смену и бритвой. В бумажнике документы добровольца, паспорт, несколько фотографий.

К одиннадцати часам мы все были на пределе нервного напряжения. Ничего не происходило, разговоры стихли, надо было чем-то заняться.

Вдруг мне в голову пришла идея поиграть в слова, что-то вроде кроссворда; это игра, в которую могут играть несколько человек. Рисуют табличку размером пять на пять сантиметров и все по очереди предлагают какую-то букву. Нужно попытаться скомбинировать двадцать пять букв таким образом, чтобы образовалась самая интересная табличка, которая будет содержать самое большое количество слов. Каждый по очереди предлагает букву из найденного им слова. Когда все клетки таблицы оказываются заполнены, подсчитываются очки (слово из пяти букв «стоит» пять очков, слово из четырех букв - четыре очка,

из трех - три, ниже очки не засчитываются). Я уже готовился с триумфом одержать третью победу, когда кто-то, облокотившись о мое плечо, чтобы посмотреть мою таблицу, опротестовал мой счет. Я использовал слово «суб» (английское сокращение для субмарины), и мой товарищ возразил:

- Это не слово, а сокращение. Такие «слова» не засчитываются.

Я ответил ему, что вся американская пресса часто использует этот термин и что вообще он отвечает ситуации!

Заговорили все разом. Тогда кто-то, видимо, решив, что спор чересчур затянулся, тоном, не терпящим возражения, заявил:

- В любом случае, что бы там ни было. Это последняя партия.

И в этот момент раздался взрыв.

Ошибки быть не могло, хотя звук взрыва оказался иной, нежели *я* его себе представлял. Просто сухой щелчок, похожий на хлопок дверью, которую резко закрыло ветром, - во всяком случае, ничего, что напоминало бы настоящий взрыв. Торпеда разорвалась ниже ватерлинии, и вода приглушила звук. Корабль слегка задрожал; не было ни удара, ни тряски - просто дрожь. Достаточно, однако, чтобы у меня мелькнула мысль: «Вот оно. прикосновение смерти!»

Фонтан огненных брызг. и тотчас прозвучал сигнал покинуть корабль. Действия, столько раз повторявшиеся на тренировках, на этот раз предстояло выполнить автоматически. Я схватил свой вещмешок, надел спасательный пояс и двинулся к двери. На палубе я увидел захватывающее зрелище: из одной из труб корабля вырывалось огромное пламя, оно поднималось вверх, быть может, метров на двадцать. Горела цистерна с мазутом. Но это был всего лишь мастерски организованный, неожиданный пиротехнический спектакль. Конвой внезапно был освещен, каждое судно направляло свой прожектор так, чтобы указать кораблям сопровождения предполагаемое место субмарины противника. Одновременно крупнокалиберные пулеметы стреляли трассирующими пулями, которые светящимися точками мчались по воздуху. Судя по множеству траекторий, противник окружал нас со всех сторон!

Все мы знали правило - корабль, атакованный противником, покидают. Но наш конвой удирал на огромной скорости, я видел, как его огни мелькают уже где-то вдали. Растерянный, я едва заметил яркий свет, который осветил нас сзади, и в ту же секунду мое сердце сильно забилось: английский корабль, шедший за нами, плавучая бомба, был торпедирован. Не менее минуты он еще плыл, взрыва не было, в противном случае от нашего суденышка не осталось бы и следа, не осталось бы никого, кто бы

описал этот случай.

Никакой паники на борту. Я про себя отметил, что роковые 90 секунд давно истекли, и это вселило в меня некоторую надежду. И все же я был на пределе, во рту пересохло, я чувствовал, что смерть бродит где-то совсем рядом.

Интересно, что, как и в Карвене, одна часть моего «я» наблюдала за другой его частью, как будто оценивая мое поведение.

Что происходит? Почему мы не действуем, как предписывалось на тренировках?

Все выбежали на палубу. Какая-то мистика. Совершенно необъяснимая трагедия: на палубе был только один плот! Лишь много позднее я понял разгадку этой тайны: матросы, одержимые навязчивой мыслью о 90 секундах и уверенные в том, что их корабль вот-вот развалится надвое, немедленно сбросили на воду все плоты. Но торпедированный корабль продолжал идти со скоростью семь узлов еще одну или две мили и таким образом плоты оказались далеко позади нас в кильватере судна. Перед тем как их бросать за борт, просто надо было их отвязать и подождать, пока корабль остановится.

Невероятнейшая глупость, важнейшая деталь, которую не учли на наших знаменитых тренировках; можно подумать, что до нас ни одно судно в мире не торпедировали!

Вторая цистерна с мазутом занялась пламенем, и корабль загорелся изнутри.

Я направился к левой шлюпке, на ней я должен был покинуть корабль. К несчастью, взрывом полностью уничтожило правую шлюпку, и все к ней приписанные устремились к левому борту. События больше не развивались по заранее отработанной схеме, и в толпе на борту началась паника. И тогда кто-то произнес бессмертные слова: «Первыми - женщины и дети!» (По правде говоря, детей не было, если не считать единственного, находившегося еще в утробе матери ребенка. Но формула есть формула!)

Сначала разместили женщин, несколько мужчин устремились за ними, и в уже отчалившую на полной скорости шлюпку прыгали матросы. Я не хотел толкаться, отстаивать мои права и смотрел, как шлюпка, моя шлюпка, удалялась без меня. Я даже не сообразил, что в шлюпке оставались свободные места, она ушла незаполненной, не взяв столько людей, сколько могла. С моей стороны это не было героизмом, просто я был жертвой «хорошего воспитания».

На корабле оставалось еще много народу, человек двадцать или тридцать. Оставалась также большая моторная лодка,

закрепленная поперек палубы; с этой лодкой действия по спасению пассажиров и экипажа на тренировках не отрабатывались. Она крепилась к шлюп-балке натянутыми металлическими тросами и стояла на клиновых опорах. Эта лодка была нашей последней надеждой. Обычно было достаточно одного удара молотом, чтобы выбить опоры, и лодку, повисшую в воздухе на тросах, можно было легко спустить на воду. Но увы! Шлюп-балку перекосило взрывом, тросы оказались слабо натянутыми и несмотря на все наши усилия, несомненно преумноженные страхом, лодка ни на дюйм не сдвинулась с места.

* * *

Теперь корабль уже был весь объят пламенем, постепенно погружался, но горизонтально, не давая крена. (Позднее мне объяснили, что он мог в любой момент перевернуться за несколько секунд.) Но как это ни странно, на палубе жара не ощущалось. Благодаря феномену противодавления, так для меня и оставшегося необъяснимым, мы были по колено в воде, хотя палуба находилась еще в нескольких метрах над уровнем моря.

Мы прислушивались к шипению пламени. Все молчали; каждый лихорадочно искал возможность спастись. И как раз в этот момент мы услышали второе за этот день историческое высказывание. Кто-то по-английски произнес слова, которые можно прочесть во всех рассказах о катастрофах: «О, если бы меня видела моя бедная мама.». В этих словах были заключены все страхи мира, и, право же, мне было не до смеха. Я твердил себе, как во время военных действий во Франции: «Надо хвататься за любую возможность, до самой последней. Никогда не бывает все потеряно!»

Я принялся метаться по кораблю в отчаянных поисках чего-то достаточно прочного, что бы плавало и могло выдержать меня на воде, за что *я* мог бы зацепиться и молить Бога о спасении. Но, как сестрица Анна, я не видел ничего подходящего.

Все мы напоминали мне крыс, крыс, которые не могут покинуть тонущий корабль! Мы были обречены либо сгореть заживо, либо, бросившись в воду, исчезнуть в водовороте готового затонуть корабля. Знакомая история. слишком хорошо знакомая.

После бесконечного метания туда и обратно я заметил группу людей, перегнувшихся через борт. Вглядевшись в волны, я - о, чудо! - увидел прямо у корпуса корабля плот; по борту к плоту спускалась веревочная лестница; по ней можно было спуститься. Кто-то возле капитанского мостика обнаружил плот, который матросы забыли сбросить в море.

Люди спускались без паники, не толкая друг друга. До меня

только дошла очередь, когда рядом со мной откуда-то появился матрос. Мгновенно в моей голове мелькнули мысли, совершенно идиотские, но не лишенные смысла; это говорила та часть моего «я», которая следила за другой, чтобы узнать, сумею ли я «умереть достойно». И я принял решение: «Ты считаешь себя важной фигурой. К тому же ты пассажир и, следовательно, логично отдать предпочтение тебе, а не этому матросу. Но.» Все это в моем воспаленном мозгу должно было привести к решению, которое было легко предугадать, - я уступил свою очередь бравому матросу, не будучи уверенным, что мест хватит для всех. Несколько мгновений спустя я в этом убедился. Но это раздвоение личности, эта последняя воля не упустить возможности уйти из жизни - я их переживал трижды, когда чувствовал, что нахожусь на пороге смерти. Полученное воспитание всегда брало верх, и когда кто-либо заводит речь о культуре, я могу сказать, что воспитание, быть может, единственное, что остается, когда забыто все остальное!

Я спустился по веревочной лестнице и, оказавшись по шею в воде, конечно же в полной амуниции, влез на плот. На нем было полно людей. К счастью, никто не остался на корабле, ни одной брошенной души, ни одной трагической сцены. Помню, что рядом со мной оказались английский морской офицер и мой приятель, дрессировщик медведей. Двоим моим товарищам-французам удалось спастись на первой шлюпке.

Продрогшие до костей, прижавшись друг к другу, мы все были на плоту, мы были спасены.

Кто-то отвязал веревочную лестницу от корпуса судна. На какую-то долю секунды нам показалось, что лучше было оставаться прилепленными к борту нашего корабля. Но корабль теперь уже весь пылал и в каком-то жутком танце клонился в нашу сторону. Мы изо всех сил гребли руками, стараясь сдвинуть с места наш плот, но сделать это не удавалось.

И в этот миг с объятого пламенем корабля донесся жуткий крик, настоящий рев дикого зверя, заставивший нас содрогнуться от ужаса, душераздирающий крик, который я никогда не забуду, даже если мне выпадет жить сорок жизней. Крик страха, крик агонии, прорвавшийся сквозь все кошмары этой ночи. Крик несчастного, либо раненного, либо не сумевшего выбраться из машинного отделения. Вероятно, взрывной волной покосило двери и их было невозможно открыть. И этот человек, которого пощадил взрыв, теперь должен был погибнуть в пламени.

Ветер продолжал нас не отпускать от борта «Пасифик Гроув». Тревога, в какой- то момент оставившая нас, снова закралась в сердце, еще глубже, чем прежде. Мы смотрели на мрачную,

высящуюся над нами пылающую громадину и ждали, когда она опрокинется и потянет нас за собой в бушующую пучину.

Нас накрыло волной, гребень которой оказался между плотом и корпусом судна. Потом другая волна, потом еще одна. Сомнений не было: мы медленно удалялись от корабля, преодолевая ветер, медленно, но верно. Если бы мы достаточно владели собой, чтобы сохранить ясность мысли, то поняли бы тогда, что корабль благодаря одной своей массе имел больше шансов быть подхваченным ветром и что это он совершенно естественно мало-помалу удалялся от нашего плота.

Мы были спасены. И только сладостное чувство стало согревать мне душу, как до меня дошло, что мы находимся в самом центре огромного пятна мазута, окружавшего судно. И в этот же момент от запаха, исходившего от моей одежды и от одежды моих товарищей, меня стало беспрерывно рвать; *я* долго никак не мог унять рвоту. Теперь стояла уже ночь, пламя вырывалось откуда-то из внутренней части корабля.

Я зажал нос, рот, уши, закрыл глаза, собрал всю волю, чтобы подавить приступ тошноты. И наконец мне удалось это сделать.

* * *

Но нас по-прежнему окружало пятно мазута, грозное пятно, пугавшее нас - мы ждали, что наш плот загорится в тот момент, когда корабль станет погружаться в волны океана. И снова нас охватило отчаяние; в третий раз мы снова почувствовали приближение конца. Мне объяснили, естественно, много позднее, что пятно мазута на поверхности ледяной воды имеет лишь самый ничтожный шанс загореться, но тогда мы этого не знали!

Проходили минуты, казавшиеся часами. Мы сидели, прижавшись друг к другу, отяжелевшие от мокрой одежды, охваченные страхом, и нам вдруг стало казаться, что наш плот незаметно идет ко дну. Мы были по пояс в воде и всякий раз, когда подхваченные волной, мы опускались, нам казалось, что мы погружаемся в черную и бездонную пучину. Когда море нас вновь поднимало, плот окатывало водой, и скоро мы оказались в ледяных «пакетах».

Когда мы были уже достаточно далеко от корабля, и страх, что плот загорится, прошел, я почувствовал, что продрог до мозга костей. Сидя на брусе, спиной к ветру, с отупевшим взглядом, я держался одной рукой за доску, тщетно стараясь согреть другую на груди, потом менял руки. Пальцы на руке, находившейся в воде, коченели, и это мне напомнило худшие моменты на охоте в Феррьере, но конец приключения на этот раз казался куда более рискованным!.. Я дрожал, подчиняясь какому-то странному ритму, как в мультфильме, и этот ритм, я слышал, выстукивали

мои зубы. Иногда у меня было впечатление, будто кто-то играет в бабки на моем позвоночнике .

Оставалось только ждать рассвета. Доживем ли мы? К счастью, поднимаясь на гребень волны, мы в краткий миг могли видеть настоящую иллюминацию, прочерчивающую пути спасения. Это лодки со спасшимися людьми освещали своими факелами черные волны океана, и эти огоньки, мерцающие в мрачной водной пустыне, светились как огоньки надежды.

Кто-то сказал, что наш корабль выпрямился и, видимо, сейчас затонет. Я сидел спиной к кораблю и не видел этого зрелища; у меня даже не было сил повернуть голову, чтобы сказать последнее прости.

А день все не занимался. Мы были уже, наверное, часов восемь на воде, точнее - в воде, нескончаемые часы.

Наконец, на рассвете на горизонте показался корабль. Мы все вскрикнули разом, затем наступила тишина, долгая тяжелая тишина. Прошло около четверти часа, но корабль не двигался, и мы поняли, что это корабль из нашего ряда, который шел третьим; он тоже был торпедирован, покинут людьми, но почему-то не затонул.

И еще один такой момент. На этот раз нам пришлось долго ждать радостной минуты. Мы увидели корвет, живой - я хочу сказать, что он двигался; он маневрировал от плота к лодке, от лодки к плоту, спокойно и целенаправленно, но ужасно медленно.

Откровенно говоря, маневрировать было не так легко. Перед тем как бросить трос, корвет с сеткой, натянутой вдоль борта, приближался к лодке. Но всякий раз требовалось несколько попыток, чтобы люди в лодке могли схватить трос, а это означало, что все следовало повторять сначала. Такие маневры повторялись бесконечно долго. Было около полудня, когда корвет приблизился к нам. Мы оставались последними - первыми мы приняли удар и к нам последним идут на помощь. Была ли в этом какая-то особая морская логика или же логика злой судьбы?

Подошла моя очередь. Я с трудом поднялся. Корвет меня подавлял всей своей грандиозностью. Я весил целую тонну, мой плащ напоминал бурдюк, полный воды, руки и ноги у меня были словно парализованы, всякая воля подавлена.

Началась зыбь, она-то меня и спасла. Мощная волна подняла меня до уровня борта. Я почувствовал, как чьи-то руки меня подхватили и опустили на палубу корвета. Я не мот ни говорить, ни передвигаться, безжизненный и равнодушный ко всему, *я* отдал себя моим спасителям.

Я узнал двух моих приятелей-французов; они улыбались,

плохо скрывая свое беспокойство. Меня перенесли, как тюк плохо выжатого белья, в каюту, где спал экипаж, раздели, голого завернули в одеяло и положили на кровать. Было приятно, сладостно, тепло. Прошел, наверное, час, а я все еще продолжал дрожать.

Голый, дрожащий, обессиленный, я внезапно услышал сигнал тревоги. Меня только вытащили из воды, и вот опять все начиналось сначала!

Пожалуй, впервые в моей жизни я не подчинился приказу! Это было уже чересчур! Я знал, что корвет мог утонуть в несколько секунд, ведь он строился цельным, без разделения на отсеки, но я оставался лежать неподвижно, совсем без сил, несмотря на сирену, которая передавала знакомую команду: «Боевая тревога, всем быть на своих местах!»

Один, всеми покинутый, я ничего не видел, ничего не понимал, только чувствовал, что мы идем на полной скорости. Но все это меня уже не интересовало, я вручил свою судьбу Провидению.

Только позднее я узнал суть этой истории. Корвету с трудом удалось спасти капитана третьего торпедированного корабля, это было голландское судно, и тут капитан с ужасом обнаружил, что забыл уничтожить секретный код конвоя, который позволял узнать каналы связи, маршруты оказания помощи. Понимая, что такой документ нельзя оставить противнику, английский командир корабля не колебался ни секунды. Он сбросил на воду шлюпку и отправился вместе со старшим помощником и голландским капитаном на торпедированный корабль. Там они нашли код и уничтожили его, но в тот момент, когда они уже должны были подняться на корвет, вражеская субмарина, которая, конечно же, патрулировала это пространство всю ночь, выпустила торпеду, взорвавшуюся в нескольких метрах от цели.

Английский капитан дал залп в направлении субмарины и, покинув лодку, распорядился быстро удаляться. Пройдя с десяток миль, он, желая дезориентировать немцев, повернул назад и проделал тот же сложный маневр, чтобы забрать пассажиров неподвижно стоявшей лодки. А в это время я лежал один в каюте, не подозревая обо всех этих передвижениях туда и обратно, позволив теплу захватить меня в плен и отказываясь думать о чем-либо.

Наконец, я заставил себя подняться и присоединиться к остальным. Мы все были здесь, около ста восьмидесяти спасенных с трех торпедированных кораблей. Наш корабль единственный понес потери, пятнадцать человек не отозвались при перекличке.

* * *

Остаток пути прошел относительно спокойно, мешали лишь некоторые неудобства: строго ограниченное количество воды - только для питья и приготовления пищи, совсем немного воды для того, чтобы умыться; очень мало места - спать вытянувшись мы не могли; скудное питание; бортовая и килевая качка - что было самым неприятным! Через два дня мы вошли в шотландский порт Гурок, покачиваясь, как бывалые моряки! Больше мы ничего не боялись, худшее осталось позади, к тому же корвет идет на большой скорости, он слишком мелкая мишень, и отныне мы снова оказывались под опекой самолетов, на этот раз британских.

Успокоившись, каждый мог вновь вести себя, сообразуясь со своими социальными устоями. Уже сегодня, размышляя о том, что же более всего меня тогда поразило, я могу ответить: эта склонность в момент опасности замыкаться в себе, сосредоточившись на своих тревогах и своем животном страхе.

После всех этих драматичных моментов мы жили вместе на спасшем нас корвете, и, хотя порой нам было одиноко, мы могли подбодрить друг друга, проводить вместе время, помогать друг другу. Некоторые, все еще не оправившись от шока, больше молчали.

Я сошел на берег в своей униформе, перемазанной мазутом, и имел вид настоящего потерпевшего кораблекрушение, с открытым воротом, так как галстук я потерял, я также потерял мой вещмешок и пижаму, но сохранил лежавшие в нагрудном кармане документы и две-три дорогие мне фотографии. Я хранил их долгие годы, пожелтевшие от времени, морской воды и мазута, в углу моего бюро на улице Лаффит до того дня, когда глупый грабитель утащил их вместе с моим билетом офицера «Свободной Франции».

Огромная ссадина, по-видимому, из-за мазута начавшая нарывать, украсила мою ногу длинным зеленоватым волдырем. Перед тем, как отправиться в отель, который нам указали, я имел время купить зубную щетку, бритву, щеточку для ногтей и мыло - все это мне отпустили без талонов. Я принял восхитительную теплую ванну и при помощи щеточки для ногтей, смазанной мылом, вскрыл мой волдырь и почистил рану; было больно, но я терпел. На следующий день все уже было в порядке, и я спокойно выехал в Лондон.

В тот же вечер в ресторане, куда я повел ужинать моего друга Жака Бенгена, мне было забавно наблюдать, как посетители, войдя в зал, демонстративно обходили мой стол, морщась от отвращения, зажав нос. Моя военная форма хранила запах моих приключений.

От этого кораблекрушения, пережитого за тысячу миль от

побережья Ирландии, у меня осталось несколько воспоминаний, одни - ценные - *я* сохраняю в памяти как уроки, многому меня научившие, другие - жестокие - всплывают как кошмары.

«О волны, сколько мрачных историй вы знаете.» - сетовал Виктор Гюго. Среди прочитанных мной многочисленных рассказов о кораблекрушениях «Жестокое море» Никола Монсара наиболее живо мне напомнило мой собственный опыт, в нем особенно правдиво и точно описывается то, что я пережил. Даже если там и есть жуткие сцены, которые мне не довелось видеть, например, когда матросы, сбившись в кружок, плавают в воде, ухватив друг друга за пояса безопасности, уже мертвые, все еще ожидая помощи.

Вся эта «морская» история закончилась только за. бокалом вина. Мой кузен Джимми извлек для меня из своего погребка бутылку лафита, достойного моего приключения. Он меня попросил угадать год.

Мне показалось, что я распознал один из моих любимых урожайных годов; в доме моего отца я часто имел возможность оценить его.

1895! - уверенно заявил я. Кузен удивленно взглянул на меня:

Ты попал в точку! Это хороший знак. Война будет продолжаться под добрым знамением.

«Свободная Франция»

В Лондоне я поселился в отеле «Дорчестер».

Уже в первую ночь меня внезапно разбудил сигнал тревоги. Я не знал, что следует делать в этом случае, и позвонил телефонистке. Она, очень удивленная, ответила коротко: «Делайте, что хотите!» Я погасил свет и снова лег в постель, затем подошел к окну, открыл его - преследуемый всеми прожекторами Лондона, одинокий самолет пытался ускользнуть.

Здесь шла самая настоящая война. На каждом шагу в городе были видны ее признаки. Повсюду военные, улицы с пустующими домами, похожие на беззубые рты, мешки с песком, громоздящиеся в особо опасных местах. И в то же время складывалось странное впечатление, что город живет своей обычной жизнью - нигде нет развалин, люди спокойно идут по улицам, заходят в бары и рестораны (продовольственных талонов тогда еще не существовало, были только талоны на одежду).

По ночам часовые в касках делали обход; при каждом таком рейде они поднимались на крыши, чтобы тотчас же принять меры против зажигательных бомб.

Теперь я снова был военным; я явился с моим командировочным удостоверением (перемазанным мазутом, перенесшим кораблекрушение), и меня поставили на учет. Мне выдали полагающуюся экипировку со всеми отличительными знаками драгунского полка, серебряными галунами на черном фоне, черной пилоткой с белым кантом. Я получил направление в тренировочный лагерь в Кемберли, что в часе езды на поезде от Лондона.

Когда я записывался добровольцем в Соединенных Штатах, я задумывался над тем, какого рода деятельностью я буду заниматься; у меня сложилось впечатление, что администрацию голлистов несколько смущало мое появление. Вишистская пропаганда неустанно повторяла, что голлисты - это не что иное, как «сборище евреев», разбавленное несколькими французами-предателями, и, даже не принимая всерьез эти заявления, я тем не менее довольно ясно представлял себе, что еврей, да еще с такой фамилией, как моя, будет если не выпровожен вообще, то немедленно отправлен в действующую армию. С другой стороны, у меня был очень малый опыт участия в военных действиях! Так что я не ожидал никакого продвижения по службе и уже приготовился к естественному ходу событий на избранном мной пути.

Те, кто, подобно мне, прибыли с американского континента,

где война воспринималась лишь как какой-то далекий конфликт, внезапно испытали радость от сознания, что они участвуют в борьбе, в которую оказался вовлечен весь мир. И чем долее я находился на «моем» континенте, тем более крепло во мне ощущение, будто я вновь обрел мою родину. Американцы участвовали в войне, в то время как англичане ею жили. Их страна страдала от чудовищных разрушений и была постоянной мишенью для немцев. Англичане достойно держались в мрачные дни 1940-1941 годов под нескончаемыми бомбардировками вражеской авиации. Они теперь были на передней линии в сражениях на Дальнем Востоке, в Северной Африке и в Европе. И вот я сейчас нахожусь здесь, где все это происходит.

Я быстро понял, что в лагерь в Кемберли направляли тех, с которыми не знали, что, собственно, делать. Молодых добровольцев и офицеров запаса должны были задействовать в уже сформированных французских частях. Но мне никто не предложил присоединиться к этим частям, и, будучи дисциплинированным, *я* добросовестно выполнял свои обязанности. Поскольку я был единственным офицером, имевшим некоторый опыт участия в боях, меня назначили военным инструктором, а вскоре - заместителем начальника лагеря. Мне помогали «профессионал» - старый командир, участник боев 14-18-го годов, любитель спиртного, но довольно симпатичный, и два бравых парня, которые целыми днями занимались ремонтом танков или бронемашин, уцелевших в Нарвике, и которые, казалось, опоздали на войну. Один из них, всегда перемазанный машинным маслом, вставляя в гусеницу танка резиновый «палец» взамен потерянного в траншеях, возбужденно разглагольствовал о том дне, когда его машины, наконец, двинутся на немцев.

Несколько приятных прогулок по лесу, редкие встречи с малознакомыми французскими офицерами. Мне вспоминается Бур-же-Монури, с которым я обсуждал какую-то шахматную партию . Такая жизнь мне быстро надоела, и я стал искать более полезные занятия.

* * *

Через две недели после моего прибытия в тренировочный лагерь мне сообщили о предстоящем важном событии: как и все офицеры, я буду представлен генералу де Голлю. У меня не было каких-либо политических амбиций, я не мог видеть в де Голле государственного деятеля и еще менее - человека, имя которого останется в истории. Для меня он был только главнокомандующий.

И тем не менее, это был великий день. В моей новой униформе я отправился к нему на Карлтон-Гарденс, и в

назначенный час меня представили ему с соблюдением всех полагающихся правил.

Откуда взялось это ощущение робости или неловкости, которого я практически никогда не ощущал? Генерал был один, он стоял посреди своего просторного кабинета. Почему его лицо, уже ставшее легендарным, меня удивило?

Я вытянулся по стойке «смирно», по уставу назвал свое имя и звание, стоял и ждал.

На его лице не отразилось ничего, никакого любопытства, никакой заинтересованности. Затем Генерал спросил о моих намерениях, о том, что я собираюсь делать.

Я ожидал этот вопрос, и тем не менее, он поставил меня в тупик, и я не знал, что ответить. Снова последовало молчание, и, наконец, я сказал, что прибыл сюда, чтобы служить, и готов выполнять приказы, которые мне отдадут.

Снова молчание. Казалось, мой ответ его удивил; потом он пожал мне руку на прощание. И больше я не видел его до середины 50-х годов, когда мы встретились с ним совершенно случайно.

Из кабинета де Голля я вышел разочарованный: я слишком многого ожидал от этой встречи и теперь испытывал какое-то чувство неудовлетворенности. После стольких размышлений об этом человеке, стольких жарких споров об истинном смысле его воззвания и его борьбы, стольких сомнений относительно того, что же в действительности представляют собой силы «Свободной Франции», теперь, после этой короткой встречи, я чувствовал себя так, словно мне на голову вылили ушат холодной воды.

Сдержанность, естественная холодность, робость, застенчивость? Позднее мне сказали, что Генерал только что узнал о смерти в авиакатастрофе своего друга, отличного офицера, недавно примкнувшего к его движению. Я также узнал, что долгие паузы в разговоре помогали ему определить политические устремления вновь прибывших.

После трех месяцев в Кемберли меня направили в Лондон. Как все офицеры, я снял комнату в городе у милейшей пожилой леди. Каждое утро я отправлялся на «службу».

Жизнь ежедневно преподносила разного рода неудобства и трудности. Газовая печка в моей комнате на Ланкастер Гейт функционировала, только если в нее опускали шиллинг и только в течение получаса! Натопить мою довольно большую комнату за это время не удавалось. Было очень холодно, и я постоянно держался возле печки, при этом колени у меня пылали, а лицо оставалось замерзшим. Ванной не было, только умывальная комната для самого простого туалета.

Питались мы большей частью плохо, в основном ели хлеб из картофельной муки; особенно мрачными и тоскливыми вечерами мы ужинали где-нибудь в ресторане в компании друзей. На улицах почти полностью отсутствовало освещение, вечерами город погружался в темноту, одним лишь такси позволялось включать тусклые огоньки, конечно же не видимые на расстоянии. В дни, когда город окутывал смог, я возвращался в мою комнату, идя на ощупь вдоль стен домов квартала.

К этой скромной повседневной жизни все же можно было легко привыкнуть, самое суровое нас еще ожидало впереди - бомбардировки.

Целая серия нападений с воздуха состоялась в феврале 44-го, бомбардировки были короткими и неожиданными. Каждую ночь, как только звучал сигнал тревоги, мы спускались в подвал. На меня, с 1940 года не знавшего таких страшных бомбардировок, все это произвело особенно глубокое впечатление.

Трудно себе вообразить адский грохот во время этих налетов, взрывы бомб и ответную стрельбу из орудий ПВО.

Были и серьезные разрушения. Часто мы принимали в наших подвалах соседей или друзей, дома которых были разрушены полностью или же в них попали бомбы замедленного действия.

Мне более всего запомнилась бомбардировка, во время которой бомба попала в Институт Франции, основанный моим двоюродным дедом Эдмоном де Ротшильдом. Там жил один офицер по фамилии Фату, и в то утро он не пришел на службу. Меня отправили узнать, в чем дело. Когда *я* пришел на место, мне пришлось пройти сквозь кордон полиции, чтобы понять, что от здания не осталось ничего; оно было полностью разрушено, сровнялось с землей, как коробок спичек после удара по нему кулаком. Офицер службы чрезвычайных ситуаций предложил мне пойти на опознание «останков или кусков униформы» француза, которого я никогда не видел, но я отклонил это зловещее приглашение. Чудесным образом осталась невредимой молодая девушка, в то время как ее родители, находившиеся в другой части той же, что и она, комнаты, исчезли, превратились в прах.

На следующий день ко мне неожиданно пришел старый офицер, раненный в живот осколками стекла.

* * *

Как-то утром, не увидев моего коллегу Пьера Мессмера, я обратился к знакомому полицейскому. Тот не мог мне сказать что-либо положительное. Только к полудню появился Мессмер с самым невинным видом, но вскоре он не на шутку разозлился из-за поднятой суматохи: у него были все основания желать остаться незамеченным, его задержали некие галантные дела.

И однако эти налеты не шли ни в какое сравнение с бомбардировками, которые начались после высадки союзников. Однажды вечером, когда мы ужинали в компании друзей, стараясь не думать ни о чем плохом, мы услышали странный шум, грохот взрывов более сильных, чем прежде.

Мы тотчас подумали об этих «летающих бомбах», о которых много говорили последнее время и которые прозвали doddle-bug («мешок с пустяками»). Какое- то абсурдистское воображение заставило нас представлять их себе похожими на птиц, бьющих крыльями об окна, куда они собираются влететь!

В действительности это были Фау-1.

Всю ночь сигналы тревоги следовали один за другим в каком-то адском ритме через каждый час, если не через каждые полчаса.

В следующие дни этот всемирный потоп продолжился: мы увидели эти машины, которые летели группами, - маленькие, быстрые, с мотором, трещащим, как мотор большого мотоцикла. Их вид не производил такого уж сильного впечатления, но когда шум останавливался, сердце тоже останавливалось; в этот самый момент они, покачнувшись, пикировали вниз, сбрасывая бомбу, способную полностью уничтожить целое здание.

В результате я нашел убежище у друзей-англичан, которые выстроили в глубине своего сада небольшое укрытие, способное выдержать взрывную волну. По утрам, когда мы вставали с постелей в наших комнатах и занимались утренним туалетом, мы держали двери открытыми из опасения оказаться блокированными в помещении во время налета.

В дневное время следовало постоянно быть начеку! Здание, где находилось наше бюро, считалось весьма основательным, и нам запрещалось спускаться в бомбоубежище.

В метро, прорытом очень глубоко, мы были в безопасности. Выйдя на поверхность, мы тотчас же бросали тревожный взгляд на плакат, висевший возле контролера: зеленый цвет указывал, что все в порядке, красный служил сигналом тревоги. И все же нужно было выходить, напряженно прислушиваясь, и бросаться на землю, как только смолкал шум мотора приближающегося Фау-1.

Чтобы ехать на такси, требовалось мужество: поскольку машины продолжали движение, несмотря на сигнал тревоги, оставалось только совсем беззащитным отдаться на волю случая. Сами водители мне казались глухими или же ничего не соображающими. Лишенные какой-либо защиты от Фау-1, открытые для нападения более, чем кто-либо другой, они навсегда остались для меня символом спокойного мужества.

Моя память сохранила карикатуру того времени: старшие

офицеры, беседующие торжественно и невозмутимо, и только их уши двухметровой длины выдают их беспокойство.

Позднее, после высадки союзников, появились и Фау-2; это баллистические ракеты слишком быстрые, чтобы их услышать; они настигают цель внезапно. Никакие средства ПВО не способны предупредить об опасности.

И тем не менее, жизнь продолжалась. Мы предпочитали бывать в ресторанах с залами, расположенными под землей; в других ресторанах мы старались не садиться за столики у окна, чтобы нас, по крайней мере, не засыпало осколками стекла.

Лондон в годы войны. Я никогда не забуду его облик, его атмосферу.

Всегда веселые, любезные, готовые разделить заботы других, англичане давали выход своим эмоциям только в мирное время. Они подспудно ожидали такого же поведения и от других. В противостоянии всем препятствиям, трудностям, разрушениям им удавалось скрывать под банальной рутиной повседневной жизни поистине героические поступки. «Храни себя в себе», - вспомнил *я* старый совет моей матери.

Для француза, страна которого только что потерпела сокрушительное поражение и который потерял веру в свою судьбу, в таком поведении было что- то ободряющее, оно указывало путь, по которому стоило следовать. Мое воспитание в духе любви к англичанам, быть может, способствовало тому, что я принял эту модель поведения, но я замечал, что французы, поначалу растерявшиеся в этой безликой для них массе англичан, затем почти вопреки себе и своим склонностям перенимают эти спокойные, ненавязчивые добродетели. Они так же не обманывают, не жульничают, и если им нужны какие-то «текстильные товары», они не стремятся их купить где-то на «черном рынке».

Даже в самые тяжелые моменты войны британские власти старались не создавать у населения впечатления постоянного полицейского контроля, как будто они предпочитали смело игнорировать деятельность разведки и контрразведки. И все же немцы не ошиблись, отправив в Англию группу шпионов, typically british - типично британских. Но я никогда не слышал разговоров о комендантском часе, меня никогда не просили предъявить удостоверение личности, ни у кого из моих друзей - англичан или иностранцев - не спрашивали, куда или откуда они идут. Война не изменила уважения к гражданским свободам. И если мне доводилось видеть полицейских, это было единственно после бомбардировки. Этот народ умел молчать о своих политических разногласиях и выступить единым фронтом перед лицом врага.

* * *

Но я приехал в Лондон не для того, чтобы наблюдать поведение его жителей во время бомбардировок. Я находился здесь, чтобы участвовать в сражениях.

Первое время я не знал никого, кроме Жака Бенгена - еще с довоенного времени моего доброго друга, шурина Андре Ситроена. (Он работал в нашей фирме, проявил себя как человек умный и компетентный, и я назначил его директором фирмы САГА - филиала «Компани дю Нор».)

Несмотря на нашу дружбу, я лишь много позднее узнал, что Бенген сотрудничал с секретными службами. Заброшенный с парашютом во Францию, в Южную зону, он был задержан в поезде и отправлен в местную комендатуру для установления личности - какой-то незначительной неточности в его документах оказалось достаточно, чтобы вызвать подозрение. Он понимал, что нельзя поддаваться столь обычным в первые часы ареста отчаянию и растерянности, что сейчас необходимо найти и использовать любую возможность для побега. Увидев открытое окно, он прыгнул в пустоту. Но это заметили крестьяне и, приняв его за грабителя, выдали немцам. Боясь, что под пытками он может выдать известные ему секретные сведения, он проглотил яд, который всегда хранил при себе. Лишь после освобождения Франции от гитлеровской оккупации, когда поиски его еще продолжались, мне стало известно о героической смерти Бенгена.

С кем увидеться? К кому обратиться? Французы не были объединены в какую- то группу. Правда, существовал клуб, куда можно было пойти поужинать, где подавали сигареты с черным табаком и где, общаясь друг с другом, французы старались сохранить свои традиции и обычаи.

У меня не было ни малейшего желания суетиться и лезть вон из кожи, чтобы попытаться занять какую-то политическую нишу. Я довольно скоро заметил, что все, кто в окружении генерала де Голля занимал сколько-нибудь заметное положение или обладал властью, старались держать на расстоянии тех вновь прибывших, которые могли занять их место или как-то им помешать. Инстинктивно каждый оберегал свое положение. Поэтому никто не предлагал мне ответственный пост, а я, со своей стороны, не участвовал ни в каких интригах или политических играх (я лишь мельком видел Гастона Палевски, которого хорошо знал) и ограничился одной только военной службой - область, где *я* сразу почувствовал себя на месте.

И все же проблемы иерархии в то время не существовало. Позднее исчез и остракизм, которому подвергали первые голлисты тех, кто прибыл в Лондон позднее. (Один мой приятель,

присоединившийся к генералу де Голлю еще в июне 40-го года, до сих пор занимал скромную должность офицера-вербовщика. Он рассказал мне, что прибывшие в июле - того же года! - отпускали в свой адрес язвительные насмешки, считая, что они здесь уже так давно, что пора на что-то решиться!)

В 43-м году в Лондоне осталось мало военных. Наиболее опытные офицеры были направлены в распоряжение частей, участвующих в боевых действиях, в Дивизию Леклерка или Африканский экспедиционный корпус. Другим выпало корпеть над документами в штабах или негласно заниматься «серьезными делами».

Теперь де Голль был уже не только командующим Вооруженными силами «Свободной Франции», но возглавлял, как мы говорили, «Внутреннее сопротивление».

Мы узнавали о его деятельности от агентов, возвращающихся из Франции, которые делали отчет перед тем, как вновь отправиться в командировку или же пока их не схватили секретные службы. Мне вспоминается шеф разведки Анри Френе, Люси Обрак. Я еще слышу голос актрисы Франсуазы Розе; это было в Уимблдоне, где я проходил стажировку, - невозмутимые английские офицеры плакали, слушая ее. Таким образом, мы знали о том, что происходит во Франции.

Вокруг «Свободной Франции» группировалось много иностранцев, например, тех, кто имел отношение к правительствам в изгнании - поляков, чехов, голландцев. Они носили то же походное обмундирование, и только по названию их страны и национальным знакам отличия на их мундирах можно было распознать этих людей. Для англичан все эти европейцы, находившиеся в Англии, считались «союзниками», людьми им равными и заслуживающими уважения.

И только американцы не были союзниками, как все другие. Они носили иную военную форму, получали значительно лучшее жалованье, вели себя менее дисциплинированно, высказывались более иронично, маршировали довольно расхлябанно, совсем как это показывалось в их фильмах, создавали много шума - короче говоря, выделялись до такой степени, что порой раздражали англичан.

* * *

Лондонских голлистов объединяли чувства, которые они демонстрировали с какой-то чрезмерной гордостью.

Истинный голлист - это прежде всего неискоренимый бунтарь. Официальная Франция - ее правительство и властные органы, ограничения и правила, которые она считает обязательными к исполнению, - все это они напрочь отвергали.

От всего отрекались. В самой этой позиции некоторые видели зародыш революции; выйти за рамки законности было нелегко для всех, и многие чувствовали, что перешли Рубикон.

Голлист, таким образом, считал себя «вне закона»; приговоренный к смерти, конечно, заочно, он не представлял себе, сможет ли когда-нибудь вернуться во Францию и какой будет эта Франция.

Голлист чувствовал себя апатридом или, точнее, чувствовал, что, быть может, больше никогда его родина не будет такой, какой он бы хотел ее видеть. Многие больше не имели законного гражданства, бежав с первым же пароходом, не зная наверняка, смогут ли вернуться. Напрасно мы старались считать себя передовым эшелоном страны, все могло сложиться как нельзя хуже. Конечно мы знали, что англичане нас не выдворят, но мало кто имел жилище где-нибудь, кроме Франции. Некоторым в этом случае предстояло принять решение - либо как-то ассимилироваться, либо навсегда остаться с чувством изменника. В зависимости от душевного склада, каждый это чувство разрыва с прошлым переживал более или менее глубоко, но оно порождало «корпоративный дух» и ту солидарность, которой отмечены отверженные или все утратившие прежние связи и привязанности.

Наконец, голлист (в отличие от своего руководителя!) был вечно сомневающимся. Да, оказавшись в Лондоне, мы верили, что сделали правильный выбор, что находимся в хорошем лагере, но мы бесконечно спорили о том, каким будет послевоенный порядок, выживет ли правительство Виши и вишизм, мы говорили об опасности гражданской войны, о неизвестности, которая нас ожидала. Будет ли режим левым и до какой степени? Один участник Сопротивления убеждал нас, будто французы резко изменились, будто даже «жандармерия стала мятежной»! Несмотря на все это, я постоянно думал о том, что остается провишистски настроенная буржуазия и что антисемитизм становится все более злобным.

Сейчас, когда я пишу эти строки, я замечаю в этом некую константу нашей национальной психологии. Все признают, что Франция - страна рациональная, рассудительная и благоразумная, пожалуй, даже склонная к консерватизму. И потом, с интервалом в несколько десятков лет, река вдруг выходит из берегов и разрыв с прошлым кажется неизбежным. Но если перелистать века нашей истории, то мы увидим, что в конце концов все возвращается к ранее заведенному порядку и река возвращается в свои берега. Однако в каждой кризисной ситуации, вопреки своему историческому опыту, французы

теряют веру в себя, сомневаются в силе коллективного разума и в возможности снова стать хозяином положения .

Меня вызвали в Лондон, чтобы направить в Военную миссию административной связи, которой руководил Буаламбер и на создании которой настаивал генерал де Голль. Американцы разработали проект управления освобожденными французскими территориями, Союзное военное управление для оккупированных территорий - AMGOT; над проектом работали в американских университетах, более чем тысяче пятистам человек было суждено установить во Франции что-то вроде англосаксонского управления. Им поручалось обеспечить на освобожденных территориях действительно союзное управление. Де Голль, опасаясь, что одна «оккупация» заменит другую и приведет к тем же последствиям, в 1943 году создал «Военный корпус административной связи», подведомственный непосредственно Французскому комитету национального освобождения и сформированный из французских офицеров. Этье де Буаламберу в 1944 году было поручено сформировать и возглавить эту организацию. Более тысячи двухсот офицеров, таким образом, подготовили и направили «во все места дислокации и во все подразделения союзников, чтобы обеспечить их связь с французским населением, восстановить административные органы и заменять их там, где это будет необходимо».

Буаламбер имел репутацию сердцееда и щеголя, но находил время страстно увлекаться политикой. Участнику Дакарского дела, ему удалось совершить сенсационный побег, прежде чем он добрался до Лондона. Теперь он имел чин полковника.

После стажировки в Уимблдоне я приступил к своим новым обязанностям. Моя должность носила славное название - начальник третьего отдела! Впервые за мою карьеру я выполнял штабные функции; в мои обязанности входило принимать вновь прибывших и делить их на группы, руководить подготовкой офицеров связи, решать вопросы, связанные с их стажировкой и затем, с учетом того, что я уже о них знаю, распределять этих добровольцев на наиболее для них подходящие места в различных английских частях оперативного назначения. Французам всех чинов и возрастов полагалось через это пройти. Будущие отношения армий союзников с французской администрацией, с вмешательством или без вмешательства членов нашей миссии - все это были проблемы политические, которые меня не касались. Но я должен был сам, без помощника, проверять все сведения, относящиеся к связи с британцами, чтобы наши дела получали правильное освещение. Эта работа требовала особого внимания, так как через мои руки проходили весьма

значительные цифры. Все вопросы обсуждались по телефону из моего кабинета, и я был постоянно загружен, как барышня-телефонистка в часы пик!

Я работал в тесной связи и полном согласии с английским офицером того же ранга, что я (после Алжира я получил капитанские нашивки), в функции которого входило принимать мои предложения и давать поручения присланным мной новобранцам.

Но вот все были туда-сюда распределены, и я оказался без работы! Одним прекрасным утром Буаламбер мне объявил:

- Теперь вы будете руководить 4-м отделом. Оснастите мне и оденьте всё и всех!

И в одночасье мои обязанности изменились.

Да простится мне краткое возвращение назад, в эпоху Кемберли, чтобы вспомнить одно из моих первых служебных поручений - моя должность называлась «знаменосец», в памяти остались два случая, с ней связанные.

Я получил привилегию нести на вытянутой руке знамя «Свободной Франции» просто потому, что оказался там единственным офицером, награжденным Военным крестом 1939-1940! В тренировочном лагере новобранцы учились ходить в ногу, иногда там были почетные караулы. Но еще случалось, что Вооруженные силы «Свободной Франции» должны были строем идти по улицам Лондона на каком-нибудь торжественном параде. Так, 14 июля 1943 года мы прошли по городу до Веллингтон Барракс, отмечая таким образом в монархической стране взятие Бастилии. Проходя мимо решетки Букингемского дворца, в толпе зрителей я узнал двух девушек. Беби и Чикиту Каркано - дочерей посла Аргентины в Англии. Взволнованный этой встречей, я их дружески приветствовал.

***

В Лондон прибыл генерал Гиро, и я был свидетелем и одновременно участником забавного эпизода. Визит Гиро совпал с самым разгаром его конфликта с де Голлем. У голлистов было впечатление, что американцы манипулируют этой пешкой в своей игре с единственной целью противостоять де Голлю. Солдаты «Свободной Франции» были настроены резко против него, некоторые даже говорили о том, что нужно убить «предателя Гиро»! Англичане, зная об этих волнениях, попросили нас прибыть накануне в Лондон и пройти маршем через весь город, этот изнуряющий марш предстоял нам на рассвете следующего дня. Несомненно, таким образом они хотели охладить наш воинственный пыл. Некоторые, однако, продолжали обвинять Гиро во всех смертных грехах - валили без разбора все, что, как

казалось, имело хоть какую-то связь с Виши. Надо сказать, что подобную нетерпимость, которая вполне в характере французов, в целом разделяли и вишисты во Франции. Я был настроен враждебно к Гиро не потому, что видел в его персоне марионетку американцев, но потому, что у меня перед глазами были два человека, которые отличались друг от друга, как Солнце от Земли.

Но вот Гиро проводит смотр войск напротив Карлтон Гарденс. Как знаменосец, *я* стою немного впереди моих товарищей, прямо перед ним. Нас разделяют от силы несколько метров. Я знал, что он был в плену, знал подробности его побега из плена, но я также знал, что, принадлежа к антинемецкой фракции в правительстве Виши, он в то же время разделял мнение тех, кто считал де Голля авантюристом с политическими амбициями.

Гиро стоял с рассеянным видом, уныло повисшими усами и заметно выступающим вперед животом - вид его нельзя было назвать впечатляющим. Внезапно его взгляд, до того блуждавший где-то у горизонта, остановился на знамени, которое я держал в руках. Казалось, он проснулся, явно заинтересованный - я понял, что он ищет глазами надпись на знамени. Я представил себе также, что он ожидает прочесть какой-нибудь голлистский лозунг, противный его взглядам. Легкий ветерок овевал знамя. Гиро, как и я, стоявший по стойке «смирно», пытался незаметно подвинуться; его явно раздражало, что он не мог прочесть надписи, а это был по сути дела обычный девиз «Честь и Родина». Я решил не дать ему развеять сомнения и всякий раз, когда он чуть отодвигался в сторону, я тоже незаметно отодвигался, но в другую. И, признаюсь, испытывал от этой игры ехидное ликование.

Офицеры часто служили «затычкой», выполняя разного рода поручения, к которым они не были подготовлены. Как это всегда бывает в военных частях, нас заваливали служебными записками, и работа с каждой из них требовала определенных знаний. Я имел лицензию на юридическую практику и стал выполнять функции адвоката защиты в военных трибуналах, когда судили французских солдат. В большинстве случаев речь шла о каком-нибудь смельчаке, отважившемся дать деру, но это называлось «дезертирством». Еще более, чем о своем авторитете, де Голль заботился о том, чтобы представить всевозможные доказательства соблюдения его движением всех норм республиканского и французского законодательства.

Вместе с де Голлем в Лондоне была Франция, и даже мельчайшие детали должны были свидетельствовать об этом. Так

же, как англичане пьют чай в своих садиках, так и всем уважающим себя французам полагалось курить «Капораль».

Обычно судьями назначали лишенных сентиментальности старых офицеров, уже начинающих дряхлеть. В особенности, я запомнил одного офицера, старого вояку, который видел в каждом «обвиняемом» человека психически неуравновешенного, ссылаясь на совсем уж неожиданный аргумент: этот солдат находится в Лондоне, в то время как он мог бы спокойно оставаться во Франции! Эта предвзятость, по меньшей мере неуместная, заставила меня очень серьезно относиться к моим адвокатским обязанностям, и я с пылом и рвением погрузился в пламенные, полные романтики защитительные речи.

Расскажу об одном серьезном деле. Англичане задержали французского дезертира и отправили его в военную тюрьму союзников в Данди, что на севере Шотландии. Французская военная юстиция немедленно отреагировала на этот арест и, чтобы допросить обвиняемого, выслала офицера-следователя, которого я сопровождал в качестве официального защитника. Четырнадцать или пятнадцать часов, проведенных в поезде, дали нам возможность обсудить этот случай. Мы пришли к заключению, что возможен мягкий приговор при условии, если обвиняемый примет предлагаемую мной линию защиты. Увы! Мы имели дело с глупым и ограниченным мальчишкой, который ничего не желал слушать. Когда шел суд над ним, я уже покинул Лондон.

«К счастью, есть воскресенья», - однажды сказал Жорж Помпиду. Никогда это высказывание не было так верно, как в той моей лондонской жизни. Уик-энд в деревне у друзей или родственников был для меня не просто некоторой переменой в повседневной жизни, своего рода отсрочкой. Гулять утром, беседовать перед камином, бродить по лесу, не вглядываясь в небо в ожидании очередного налета!..

***

Постепенно мне удалось отыскать моих кузин и нескольких родственников. Много уик-эндов я провел в гостях у Джимми и Долли де Ротшильд в Уоддестоне. Джимми был большим оригиналом: высокий, с огромной продолговатой головой, с длинными руками, он носил шляпу, сильно надвинутую на лоб, что придавало ему вид весьма необычный. Джимми и мой отец были большими друзьями, а кузина Долли была близка с моей матерью. Сын барона Эдмона, Джимми первым из французов основал еврейское предприятие в Палестине. Его считали несчастным ребенком. Он убежал из родительского дома и устроился юнгой на торговый корабль. его отыскали где-то в

Австралии. Тогда отец отправил его в университет в Англию, и Джимми влюбился в эту страну. Он сменил гражданство и впоследствии даже избирался членом английского парламента.

Мои кузены работали, и я по возможности старался им не надоедать. Иногда *я* заходил в банк пообедать с Энтони и там познакомился с Энтони Иденом. Пожалуй, я слишком редко виделся с Виктором (лордом Ротшильдом), уже тогда известным своими научными работами; его широкая образованность произвела на меня сильное впечатление. Зато я часто встречался с его сестрой Мириам Лейн. Разносторонне одаренная, интересующаяся энтомологией, она вращалась в интеллектуальной среде, и благодаря ей я познакомился с удивительными людьми. Ее муж, венгр по происхождению, человек очень спортивный, служил в английских десантных частях. Он попал в плен, будучи заброшен с парашютом во Францию, и теперь Мириам жила в постоянной тревоге за мужа, хотя допрашивал его Роммель, имевший репутацию джентльмена.

Однажды за завтраком я рассказал Мириам, какое большое впечатление на меня произвела книга «Слепящая тьма», только что вышедшая в Америке. На следующий уик-энд по приглашению Мириам я приехал к ней в ее загородный дом и каково же было мое удивление, когда я встретил там Артура Кёстлера - автора этой книги собственной персоной.

Маленького роста, с покатым лбом и черными волосами, с плечами, отведенными куда-то назад, с судорожно подергивающимся лицом, Кёстлер на первый взгляд не производил большого впечатления. Он часто приглашал меня в Челси, в свой маленький дом, где он жил со своей восхитительной дочерью Мамаин Паже. Он был настолько любезный и предупредительный, что приносил мне завтрак в постель - роскошь, почти сюрреалистичная в то суровое время. Я познакомился со многими его друзьями, и мы образовали кружок, проводя время за спорами о том, как переустроить мир.

Кёстлер сначала бежал во Францию, где был интернирован, как многие, прибывшие из Центральной Европы. Его постигла сначала та же участь в Англии, но один из его друзей - заместитель министра авиации - поручился за его «политическую благонадежность»!

Он был знаменит, но вызывал противоречивые толки. Отрицательно воспринималась его критика лагерной коммунистической системы, которая фактически косвенно задевала просоветские настроения многих в тот момент, когда наши героические союзники доставляли немало хлопот Гитлеру.

Но более всего его волновали страдания евреев, так как его

мать, еврейка, не могла выехать из Венгрии. Один и тот же кошмар преследовал его каждую ночь: он на дороге, за ним гонятся убийцы, он пытается кричать, но ни единого звука не вырывается из его горла, и ему не удается позвать на помощь. Этот сон вместил всю тревогу пророка, каким казался Кёстлер: знать правду и в то же время быть не в состоянии заставить общество принять ее, ибо речь идет о том, чтобы предупредить мир об уничтожении евреев или разоблачить ложь советского режима. Он был в отчаянии, не имея возможности расшевелить правительства союзников, побудить их что-нибудь сделать, чтобы спасти депортированных. После его рассказов у меня не осталось никаких сомнений относительно судьбы евреев, отправленных в «трудовые лагеря». А тем не менее, многие продолжали отказываться верить правде; рассказывают, что даже сам Черчилль, когда ему впервые упомянули об «окончательном решении еврейского вопроса», потребовал доказательств. Возможно, правительства союзников не решались публично признать правду о том, что происходило в лагерях, из боязни, как бы общественное мнение не настояло на преждевременном открытии второго фронта. Во всяком случае, я не думаю, чтобы союзники, освободив Аушвиц, сильно удивились тому, что они там увидели.

Последователь Жаботинского, Кёстлер не только интересовался судьбой Палестины, но страстно боролся за идеи сионизма. По всей видимости, от своего коммунистического прошлого он сохранил непростительную и романтическую слабость к тайным действиям и насилию. Он обладал чудесным даром разделять идеи или эмоции, о которых он собирался писать. Он задавал вопросы, чтобы продолжить анализ, он анализировал, чтобы найти новые вопросы, и никогда не мог остановиться.

Он прекрасно говорил по-английски, но с заметным венгерским акцентом. В тот день, когда он вышел из лондонской тюрьмы, один случай заставил его усомниться в психическом здоровье англичан - этого народа, который вначале сажает его за решетку, а затем преподносит странное испытание. Не зная, куда идти, он зашел в кабину телефона-автомата, чтобы позвонить единственному приятелю - он мало кого знал в Лондоне. В то время нужно было связаться с оператором, чтобы выяснить сумму, которую следует заплатить за разговор. По - видимому, Артур услышал английскую фразу так, как он ее произносил сам. Вместо безобидной фразы: «Put your pennies in the slot» (Положите ваши пенни в отверстие), он услышал: «Put your penis in the slot» (Положите ваш пенис в отверстие) - это необычное предложение

ошеломило его!..

* * *

Время шло. С первыми весенними днями 44-го года все только и говорили что о высадке союзников. Все надеялись на нее, но многие все еще слишком переоценивали силы немцев. Знали, что эта операция была сопряжена с огромным риском, и неимоверные трудности, связанные с ее проведением, все еще останавливали американцев и англичан.

6 июня мы по радио услышали великую новость: союзные войска высадились в Нормандии. Я буквально прыгал от радости. И тем не менее, мы не слишком идеализировали ситуацию и чувствовали себя немного не в своей тарелке.

Моя деятельность в Англии больше не имела смысла. И тогда Андре Манюэль, помощник Пасси, начальника BCRA (Центральное бюро разведки и действия) возложил на меня обязанности, которые показались мне захватывающе интересными и очень важными - мне предстояло установить контакт с Французским Сопротивлением. *Я* ожидал с нетерпением, когда *я* начну свою новую деятельность. Но ничего не происходило. Все закончилось тем, что мне дали понять, что по каким-то причинам мою кандидатуру отклонили. Наверное, нашелся кто-то более изворотливый и лучше меня умеющий устраиваться, разве трудно найти предлог, чтобы мне отказать! Вот письмо, которое в гневе и огорчении я тогда написал Алике:

«В апреле мне обещали работу намного более интересную, чем я вообще мог предположить. Однако через несколько недель. оказалось, что моя должность гораздо менее важная и мне совсем не интересная. Позднее я получил доказательство того, о чем подозревал: препятствием послужило мое имя - для правых я был евреем, для левых - капиталистом. Новая вспышка антисемитизма среди французов объясняется настойчивым желанием возвратиться во Францию и страхом, что слишком большое количество евреев среди желающих вернуться может служить препятствием этому. Когда все объединились, они были рады использовать евреев, а теперь, когда присутствие евреев может скорее создать осложнения, нежели поддержать принципы, во имя которых эта война ведется, похоже, судя по их поведению, они низко пали.»

Это выражение «антисемитизм» может удивить лондонцев - оно вырвалось у меня под влиянием гнева и раздражения и, возможно, было некоторым перегибом. Но совершенно очевидно, что в сознании лондонских французов присутствовал «еврейский фактор», поскольку очень много евреев по вполне очевидным причинам покинули Францию и присоединились к де Голлю.

Вишисты слишком часто напоминали об этом с целью дискредитировать Сопротивление, чтобы об этом можно было забыть. В действительности все еще жили в прошлом, и Народный фронт с его внешней революционностью все еще заставлял добропорядочных граждан трепетать.

К концу июля я был назначен в главный штаб под начало генерала Кёнига, и через несколько дней меня отправили в Генеральный штаб экспедиционных сил союзников - огромный лагерь, расположенный в лесу под Портсмутом. Сразу после моего прибытия, во время обхода лагеря, я услышал доносящийся из одной из палаток голос английского полковника, который надрывался до хрипоты, кричал в микрофон рации, обращаясь к генералу, участвующему в военных действиях:

- Well, sir, has the enemy got a bloody nose? («Ну так что, сэр, вы расквасили нос противнику?»)

Типично английское образное выражение - он спрашивал, действительно ли нанесен удар врагу.

На ужин подали приготовленную поваром-американцем говядину по- бургундски под шоколадным соусом! Я выжил. но меня еще долго преследовал отвратительный привкус этой мешанины.

* * *

Спустя неделю я получил приказ отправиться во Францию. Передовая часть Центрального бюро разведки и действия только что расположилась на западе Нормандии в Гранвиле у основания полуострова Котантен.

На десантном катере я пересек Ла-Манш. Кругом было настолько тихо, что я уснул в пижаме, не вспоминая о моих атлантических приключениях. Я заранее предвидел то волнение, с которым я вступлю на французскую землю. По правде говоря, нормандец бы не узнал родные пейзажи. Сколько хватало глаза, всюду в разные стороны мчались военные машины, казалось, что их движение беспорядочно, и все это напоминало кишащий муравейник.

После нескольких дней, проведенных в Гранвиле, меня направили в Париж. В Париж, только что освобожденный.

Мне повезло - один американский офицер, которого *я* встретил в Марокко в 41- м году, предложил мне место в штабной машине. Это было долгое путешествие среди полей бывших сражений, где то и дело попадалась оставленная после боев военная техника; маршруты, контролируемые союзниками, не были более прямыми!

Исчезли воспоминания о картинах мирной жизни. Там и здесь я видел только выведенные из строя вражеские танки, еще и

сейчас в моей памяти встают эти голые поля, деревья без листьев, часто поваленные. И я еще чувствую этот ужасный запах смерти, подступающий к горлу. Трупы погибших еще не успели захоронить.

По мере того как мы приближались к Парижу, картина менялась, деревни становились веселее, и вскоре я почти забыл о войне. В пригородах Парижа мы увидели, наконец, людей. Жизнь как будто возрождалась вновь. Люди с восторгом смотрели на освободителей, приветствовали их, без устали аплодировали им уже несколько дней.

Прошло почти пять лет с тех пор, как я покинул мой родной город. Пять лет! Я как будто забыл Париж! Мы пересекли Булонский лес, и в тот самый момент, когда мы оказались у порта Дофин, я внезапно понял, что все это значит для меня. Этот город, исчезнувший с лица земли, Париж потерянный, Париж запретный, это была часть моего сердца. Ив то же время на меня нахлынула волна воспоминаний о моей юности, моем детстве, моей жизни. Знакомые кварталы, лица друзей, их голоса, которые я скоро услышу вновь.

Но у меня не оставалось времени предаваться всем этим чувствам. Надо было заняться делами.

В какие двери стучаться? Я решил встретиться с четой Вальяно - Барбарой и Андре, друзьями, с которыми мы до войны играли в гольф.

От порта Дофин я прошел несколько сот метров и позвонил с бьющимся сердцем в дверь. Поистине это был для меня удачный день - вся семья оказалась дома, и каждый меня поздравлял, как будто я вернулся с Луны. Мы говорили и говорили до самого ужина, к которому я сделал скромное, единственно для меня возможное подношение - мой боевой паек.

Кровать! Телефон! Я позвонил Рене Фийону, он был, как всегда, в банке, как всегда, на страже интересов нашей семьи. С помощью телефонной трубки мы, если можно так выразиться, бросились в объятия друг к другу.

На следующее утро я одолжил велосипед, проехал до площади Этуаль и, как во сне, спустился к Елисейским Полям.

Ярко сияло солнце. Девушки, тоже на велосипедах, казались одна другой красивее, и я до сих пор сохранил воспоминание об их туфлях с деревянными подошвами, об их платьях с широкими юбками, трепетавшими на легком ветерке.

Я написал в Америку и заверил своих близких, что и союзникам, и французским солдатам оказывают фантастический прием. У ног каждого - по две женщины, в городских садах всю ночь из палаток доносятся веселые выкрики и приглушенный

смех. Американцы, и кажется, не без основания, считают Париж огромным военным магазином, который их в изобилии может снабдить полагающейся им порцией женской нежности. Солдаты французских внутренних сил движения Сопротивления, большей частью совсем молодые и радостно оживленные, были одеты в штатское (к ним примешивались странные субъекты с повадками гангстеров). С трехцветными повязками на рукаве они мелькали повсюду, держа автомат в руках и девицу под мышкой, размахивая гранатами и знаменами. В Париже было не видно следов сражений, город не тронули. При скудном электрическом освещении пользовались свечами. Никакого общественного транспорта, совсем мало продуктов питания, рестораны и магазины закрыты. Открыты одни лишь кафе.

Я вернулся в наш банк на улице Лаффит. Там работали всего двенадцать человек, основной костяк служащих ожидал в Ла Бурбуле решения различных проблем как личных, так и связанных с деятельностью банка.

Как только я приехал, меня как героя приветствовал тот самый человек, которого правительство Виши уполномочило наложить секвестр на наш банк! В действительности он никогда не переставал быть всем сердцем с нами и радовался, что больше не нужно заниматься ликвидацией имущества нашей семьи. В тот же день «Банк де Франс» официально вернул «Братьям Ротшильдам» номер счета, который принадлежал нам более века. У меня сложилось впечатление, что я праздную свой день рождения.

Возрождение банка Ротшильдов

Недавно мне на глаза попались мои заметки, датированные январем 1946 года; вот, что *я* тогда писал:

«Итак, какова же ситуация во Франции? Эта страна, как и почти вся остальная Европа, развивается в антикапиталистическом направлении. Конечно, нет уверенности, что меры, направленные против крупных предприятий (запрет на создание акционерных обществ) и антикапиталистический террор удержатся, но тенденция налицо; развитие в этом направлении может идти быстро или медленно, но ход его очевиден.

К тому же, французская валюта - самая слабая из всех валют великих держав, управляют ей так же неудачно, как валютами балканских или южноамериканских стран. Франк 1946 года официально в сорок раз дешевле, чем франк 1940 года; ситуация совершенно не сопоставимая с Англией, Бельгией, Голландией, а тем более, с США и Швейцарией.

То есть налицо эндемично французская неспособность. Легко себе представить, что, более или менее скоро, уготовано крупному состоянию в антикапиталистической стране с жалкой валютой. Недалек тот день, когда этот же антикапитализм уничтожит и частные банки.

Надо выбирать: или мы живем здесь, где наши корни, и соглашаемся на уменьшение капитала, которое нас ждет, а наши дети выучатся какому-нибудь ремеслу, станут химиками или фермерами.

Или же мы не позволим себе потерять те огромные активы, которые заключены в самом имени Ротшильдов. Пусть тот, кто хочет, остается во Франции, чтобы не отрекаться, пусть другие уезжают в Америку, чтобы там заниматься бизнесом, создавая новый Дом Ротшильдов. Таким образом, мы восстановим стоимость в мировых ценах, мы избежим краха.

Жить во Франции как почтенные пенсионеры - перспектива бесславная. Создать в Америке Банк Ротшильдов - предприятие, достойное пяти франкфуртских Ротшильдов.»

Прочитанные сегодня, эти слова потрясают. Конечно, я ошибался, когда, воображая политическое будущее Европы, опасался советской экспансии. Но в том, что касается социализации Франции и изменений в ремесле банкира, мой анализ оказался верным. Теперь, констатируя, как мало я руководствовался этими собственными размышлениями, я спрашиваю себя, что же в действительности движет делами человека. Пожалуй, люди всегда надеются, что самые мрачные из

их пророчеств никогда не исполнятся, ибо худшее никогда не бывает неизбежным. К тому же, предел свободы наших действий оказывается гораздо ближе, чем нам хочется думать. Но ясно, что мы не можем ускользнуть от некой предопределенности, заданной окружением, как и не можем радикально повернуть течение нашей жизни в зависимости от абстракций, по определению не поддающихся проверке.

То ли это малодушие, то ли мы недостаточно доверяем собственным идеям, не знаю.

Силы притяжения действуют мгновенно, будущее же всегда - только гипотеза. У меня был семейный очаг, была работа, коллеги, друзья, родственники, ясно намеченный жизненный путь и явная склонность к предназначенной мне судьбой жизни. Мне повезло, и я вышел невредимым из военных передряг; я с радостью снова стал одним из Ротшильдов, французским банкиром, и был полон решимости сделать все, чтобы оживить Дом Ротшильдов и поднять престиж семьи.

Сразу после моего возвращения в Париж в 1944 году и даже прежде, чем я успел демобилизоваться, я оказался де-факто хозяином семейного предприятия «Братья Ротшильды». Мои кузены Ален и Эли, сыновья Робера Ротшильда, возвратились из плена, где с ними обращались так же, как и с другими французскими офицерами, поскольку немецкая армия соблюдала в лагерях военнопленных международные конвенции. Но во время крушения 1940 года я один взял на себя ответственность за спасение всего того, что можно было спасти; именно я сразу после освобождения Парижа приступил к восстановлению деятельности нашего Дома. Наконец, их отец и мой, которые, после смерти дяди Эдмона, остались единственными акционерами старшего поколения, передали бразды правления в руки поколения следующего, где я был самым старшим. Таким образом, я оказался «первым среди равных», занимая положение, равное посту Генерального директора и Президента. И это продлилось тридцать пять лет.

Несмотря на недостаток опыта - а я начал работать в банке всего лишь за восемь лет до начала войны, несмотря на отсутствие рядом со мной опытного коллеги, который мог бы стать мне наставником или вдохновителем, потому что у меня не было никакого плана развития на будущее, я не мучился вопросами. Я впрягся в работу, исполненный решимости. Прежде всего, следовало научиться противостоять повседневным проблемам, а им не было числа.

В период между Первой и Второй мировыми войнами банковская и финансовая деятельность Дома Ротшильдов

развивалась слабо (помощь нашим венским кузенам, понесшим большой ущерб, стала наиболее заметным делом этого периода). К этим, почти застойным годам, следует прибавить наступивший после поражения Франции четырехлетний ликвидационный период, и тогда легко представить, в каком состоянии находился наш добрый старый банк. Когда *я* в 1944 году вернулся в Париж, осталось человек пять-шесть служащих, вместе с которыми я нередко обедал в полуподвале, оставленном в нашем распоряжении, поскольку всю остальную часть здания занимала «Национальная помощь». У банка осталась лишь горстка клиентов, вклады на жалкую сумму, немного акций, а в кассе почти ничего - с такими активами мы и думать не могли о том, чтобы наладить деятельность!

Еще одна, не прибавлявшая оптимизма проблема, с которой банк раньше никогда не сталкивался: наличие в Бурбуле сотни служащих в возрасте семидесяти-восьмидесяти лет, которых не увольняли и которым платили во время войны по вполне понятным, человеческим мотивам. Наконец, в дирекции рядом со мной работали Рене Фийон и Робер Ланглуа, которые, хоть и показали себя достойно во время оккупации, тем не менее, не имели навыков работы в банке. Пришлось мне обратиться к Андре Легро, служившему в 1940 году под моим командованием, а затем поступившему на службу в «Креди Лионне». Но его опыт работы ограничивался руководством филиала банка.

Напомню, кроме того, особенно для моих молодых читателей, что война и оккупация разорили страну до такой степени, что простой возврат к экономическим показателям 1939 года, какими бы скромными они ни были, казался неосуществимой мечтой. Никто в то время среди руководителей французской экономики, с которыми мне довелось встречаться, и представить себе не мог, какой великолепный рывок совершит Франция в последующие три десятилетия, рывок, который вернет ей одно из первых мест в европейской экономике.

* * *

Поскольку будущее представлялось непредсказуемым, я не позволял себе увлекаться революционными преобразованиями, и уж совсем не хотелось мне тревожить отца, в те немногие годы, что ему оставалось жить.

Несмотря на конъюнктуру, которую, прибегнув к эвфемизму, следовало бы назвать малопривлекательной, я был полон решимости вернуть банку былую славу и вернуть имя Ротшильдов в мир живых. Мне казалось, что в этой обстановке неуверенности следовало более, чем когда-либо, вспомнить об истории нашей семьи, о ее традициях и принципах, в которых я черпал

вдохновение и силы, чтобы действовать. Я, во что бы то ни стало, хотел сберечь безупречную репутацию, которая нам досталась в наследство, и занять подобающее Ротшильдам место в обществе грядущей второй половины века, а потому я выработал план, который если и не гарантировал возрождение Дома Ротшильдов, то хотя бы подготавливал его.

Первоочередная задача заключалась в том, чтобы получить обратно пакеты акций семьи, рассеянные по дружественным банкам в результате продажи по секвестру. Поскольку закон о возвращении нам средств, утраченных после 1940 года в процессе ликвидации, вступил в силу, эта операция стала необходимой. В то же время, мне пришлось решать самые разнообразные проблемы финансового и налогового плана, возникшие после возвращения из-за границы моего отца и дяди Робера.

Решая первую задачу, я убедился в том, что, хотя в период между двумя войнами объем делового оборота банка из-за ограниченных инвестиций был весьма невелик, семья, тем не менее, располагала значительными активами во многих обществах, где Ротшильды часто были главными акционерами. Итак, с одной стороны, едва живой банк, а с другой - компании, процветающие благодаря инвестициям Ротшильдов! «Элементарно, дорогой Ватсон!» - подумал я. И сосредоточился на проблеме, затрагивавшей, в первую очередь, компанию «Компани дю Нор», которую по традиции контролировал банк. Сеть железных дорог, созданная моим прапрадедом Джеймсом, была национализирована (уже!..) в 1937 году. Но компания сохранила активы и создала из них резервы. Этот капитал, котировавшийся на бирже и рассеянный среди многих держателей акций, представлял собой мощное орудие, к которому можно было бы в будущем прибегнуть (мой отец еще оставался административным директором).

Однако я быстро понял, что ситуация не созрела для того, чтобы использовать этот потенциал, и обратился к другим акционерным обществам, где мы были основными акционерами. и акционерами безгласными! Так когда-то решил мой отец, наследник философии особого рода, согласно которой имя Ротшильдов, даже если они были главными акционерами, ни в коем случае не должно было связываться с компанией, акции которой распространялись среди широкой публики. Отец утверждал, что, если в такой компании что-нибудь пойдет плохо, Ротшильды почувствуют свою финансовую ответственность и будут вынуждены действовать, чтобы спасти репутацию. В своих рассуждениях он шел еще дальше: он даже не хотел, чтобы банк управлял вложениями своих клиентов. Отец говорил так: «Если

клиент в выигрыше, он считает, что все идет нормально, если он потеряет деньги, то скажет: меня разорили Ротшильды». (На самом деле, доля истины в его сетованиях была велика. Но неблагодарность отдельных клиентов или возможная критика с их стороны не оправдывают отказа от своего ремесла.) Будучи последовательным в своих убеждениях, мой отец держался на расстоянии от акционерных обществ, в которых семья имела значительные вложения. Он назначал туда главами высокопоставленных персон и лишь раз в год выслушивал то, что эти господа благоволили рассказать ему. Конечно, никто из этих руководителей не отказывался от свободы, которая им столь щедро предоставлялась и, более того, навязывалась. Все вели собственную политику и в своем послушании доходили до того, что устанавливали банковские связи даже за пределами улицы Лаффит!

* * *

Мне следовало развернуть машину в обратную сторону, операция тем более сложная, что обращаться приходилось к лицам старше меня, с безупречной репутацией и которые, не будем забывать, никаких преступлений не совершали. Мне пришлось лично обойти буквально всех и выказать немалое терпение. Но постепенно мне удалось добиться понимания, и *я* получил, что хотел: акционерные общества перевели свою наличность в наш банк и, одновременно, все члены семьи вернули на улицу Лаффит свои акции и деньги. Суммы оставались очень скромными. Но Дом больше не был отягощен крупными расходами и выжил. К концу 1947 года общий объем вкладов во франках 1979 года достигал 150 миллионов (мне удобней приводить суммы во франках 1979 года, чтобы рассчитывать денежные эквиваленты на весь послевоенный период).

Однако именно этот первый период оказался предвестником будущего значительного роста нашего семейного предприятия на основе более чем тридцатилетних трудов. Это стало результатом ряда инициатив, среди которых не было ни одной слишком эффектной или слишком оригинальной, но, воплощенные в жизнь, эти инициативы обеспечили нам продвижение вперед.

Так, например, мы создали департамент документальных кредитов, который быстро стал рентабельным, поскольку вследствие войны международные компенсационные операции оказались рискованными из-за утраты устойчивой системы эквивалентов. Мы вновь обеспечили безопасность, необходимую для операций такого типа. Мы также создали все необходимое для того, чтобы обеспечивать управление портфелями ценных

бумаг, передавать распоряжения на биржу и, следовательно, получать скидку по комиссионным.

Поскольку мы старались не пропустить ни одной возможности для развития, нам удалось принять участие в некоторых необычных операциях: вскоре после войны правительство, желая дать толчок возвращению капиталов, переведенных в Швейцарию, выработало особую процедуру, гарантировавшую анонимность. Все трансферты проходили в обстановке строжайшей секретности, под контролем кого-нибудь из магистратов и наших служащих. В 1947 году «Ройял Датч» и «Шелл», две родственные компании, приступили к увеличению акционерного капитала. Правительство не сочло возможным предоставить многочисленным французским акционерам, которые хотели «двигаться в том же русле», необходимую валюту. Нам, вместе с «Банком Лазар», удалось убедить чиновников, что вывоза валюты не произойдет, если французские держатели акций получат разрешение продавать на международном рынке такое количество акций, которого было бы достаточно, чтобы подписаться на увеличение капитала пропорционально числу акций, которые у них сохранялись. Эта «белая» (бесприбыльная) операция, как ее называют на финансовом жаргоне, в конце концов, была разрешена.

Несколько лет спустя, немецкая компания «Флик» продала угольные шахты в Сааре и получила в качестве оплаты заблокированные франки, которые вложила в наш банк. Наша финансовая служба добилась для «Флик» разрешения приобрести на эти заблокированные франки 5 % капитала компании «Пешине». Это сотрудничество длилось не долго, но оно облегчило финансовое положение «Пешине» и позволило «Флик» избежать обесценивания своей наличности.

Наконец, английская компания «Рио Тинто» также приступила к увеличению капитала в тот момент, когда нам удалось получить от министерства финансов фунты стерлингов, необходимые для подписки на французскую долю, которая в ту эпоху представляла половину капитала компании.

Конъюнктурные операции позволили маленькому банку скромно существовать с помощью некоторых мер налогового стимулирования, предпринятых еще в Первую мировую войну, которые затем были отменены. Так, акционерам банка разрешалось коллективно получать определенные доходы с части средств, инвестированных в боны казначейства. Эти доходы, не облагаемые налогом, были хоть и невелики, но ценны для нас.

Году в 1949-м я попросил одного эксперта изучить нашу бухгалтерскую систему. Это было ископаемое, порожденное еще в

начале XIX века, где использовалось такое количество рабочих рук, что более рентабельным было бы прекратить всякую работу!

Мы приняли мудрое, но для того времени, смелое решение перейти сразу же к современным средствам информатики, которая тогда только зарождалась и которую Андре Легро изучал в компании IBM. Тут мы стали первопроходцами, но эта мера оказалась абсолютно необходимой и позволила нам заниматься банковским делом совершенно в иных масштабах. Нам повезло, и благодаря посредничеству моего друга Пьера Шеврие, одного из руководителей Парижского Национального Банка, Жерар Фроман-Мёрис согласился перейти к нам, чтобы руководить банковской деятельностью. Таким образом, мы сформировали команду руководителей, которой нам так недоставало, и теперь мы могли приступить к систематическому развитию торговой части нашего банка. Так и было сделано.

Одной из наших первых инициатив стало создание импортно-экспортной компании «Трансокеан», способной организовывать взаиморасчеты без оплаты. Она просуществовала всего лишь несколько лет и скорее затруднила, чем облегчила нам жизнь. Лишь одно связанное с этой компанией деяние можно причислить к славным: в 1954 году ее последним директором стал Жорж Помпиду.

* * *

Более важной для будущего - как *я* уже писал - была «Компани дю Нор», акции которой котировались на бирже, что открывало перед нами большие возможности. Я стал президентом этой компании в 1950 году, после смерти отца. Как оказалось, вовремя, чтобы противостоять неожиданному кризису: представитель биржевой конторы Перро Соссин, с которым я был не знаком, сообщил мне, незадолго до годового собрания акционеров, что его фирма скупила много акций и хочет начать с нами борьбу за перераспределение полномочий. Несомненно, наше положение было прочным, но у меня не было полной уверенности, что мы контролируем компанию, акции которой продавались очень широко. Руководствуясь здравым смыслом, я предпочел начать переговоры. Меня приятно удивила скромность выдвигаемых требований: контора хотела фигурировать в списке плательщиков купонов и назначать своего ревизора. Это показалось мне приемлемым, и позднее я мог лишь хвалить себя за сделанный выбор. Случай, однако, заставил меня насторожиться. Он доказывал, что биржевики сомневаются в нашей надежности и сомневаются во мне, лишь недавно появившемся на финансовой сцене. Я должен был доказывать свой авторитет и свою решимость.

Через два или три года мелкая финансовая газетка выдумала, будто бы «Компани дю Нор» располагает значительными резервами, которые держатся втайне. На годовом собрании мне пришлось отвечать на вопросы, поставленные так, чтобы сбить меня с толку. В течение нескольких минут я отвечал с заминками, притворяясь смущенным. Потом я назвал подлинные суммы.

Провокация завершилась бесславно, и мои противники покинули зал, не дожидаясь конца собрания.

С этого дня моя репутация стала устойчивой, и мне уже никто не досаждал. Через несколько лет, когда мне пришлось занять пост президента компании «Пенарройя», один биржевой маклер, которому доставляло злорадное удовольствие травить моего предшественника, начав работу со мной, прекратил подобные выпады и стал для меня настоящей поддержкой.

Таким образом, мои позиции как полноправного банкира укрепились, и, после нескольких лет, которые можно было назвать годами «консолидации», пришел час серьезных дел.

В 1953 году инвестиционные компании получили особый статус, который сделал их более выгодными и более легкими в управлении, чем холдинги. Это позволило нам создать инвестиционное общество «Сосьете д Инвестиссман дю Нор», куда частично вошли активы «Компани дю Нор». Эта компания смогла распределить между собственными акционерами на условиях освобождения от налога акции, которые она приобрела у нашего инвестиционного общества и которые, таким образом, получили очень широкое распространение.

«Сосьете д 'Инвестиссман дю Нор» также получило от членов нашей семьи пакеты акций «Шелл», «Ройял Дач», «Ле Никель», «Пенарройя». Наша доля в этом инвестиционном обществе намного превосходила долю остальных акционеров, и потому мы могли контролировать использование активов и так же, как и раньше, получать банковскую прибыль, обеспечиваемую нашими акциями.

В 1955 году, благодаря процветанию финансового рынка, у нас появилась возможность получить средства рефинансирования путем увеличения капитала «Компани дю Нор». И пока для собранных таким образом сумм подыскивали подходящие вложения, с помощью этих денег возрастал объем банковского депозита.

Для банка «Братья Ротшильды» первый этап был завершен, старый Дом вновь занял достойное место на финансовом рынке Парижа.

Наряду с банком, который всегда был нашим основным полем деятельности, важнейшим активом был семейный

винодельческий дом Шато-Лафит, управление которым было возложено на нас. Мы знали, что до войны дела этого предприятия шли неважно, и никто из нас не мог себе представить, какое будущее его ждет. Эли выразил желание заняться виноделием, а мы - Ален и я - были очень обрадованы тем, что он согласился взять ответственность на себя. Скажу сразу, что он прекрасно справился, и его трудами в течение долгих лет эта знаменитая марка процветала и становилась все престижней. Затем Шато- Лафит перешел в руки Эрика, сына Алена, который, к общему удовлетворению, перенял факел из рук дяди. Так что в этом деле *я* лишь один из собственников, не приложивший своих рук, но всегда живо интересовавшийся виноделием, и, конечно, я горячий поклонник нашего вина. Шато-Лафит заслуживает того, чтобы о нем еще многое рассказали. но мы ведем разговор о финансах.

Железо и нефть

В том же 1955 году начался бум на нефтяном и на сырьевом рынках Французской Африки, бум, который стал основным финансовым событием последующих лет.

Мы приняли активное участие в освоении богатств африканской земли и постарались заинтересовать в этом наших клиентов с помощью разнообразных финансовых операций. У меня остались прекрасные воспоминания об этой эпохе лихорадочной деятельности, в том числе, и о работах по эксплуатации месторождения железа в Мавритании и по созданию компании «Миферма», в которых я лично принимал активное участие.

Я помню, что предварительно пришлось решить некую личную проблему, с которой мог разобраться лишь Гастон Деффер, тогдашний министр Заморских Департаментов и Территорий. Министр принял меня прохладно: я был для него символом постылого капитализма; он намекнул, что, не будь у меня военных заслуг, он не согласился бы на встречу со мной. Но затем, оставив в стороне этот изъян собеседника, министр быстро решил мой вопрос. Для того чтобы начать дело, было необходимо получить кредит в 69 миллионов долларов от Всемирного Банка, который к нашим просьбам не прислушивался. Вильфрид Баумгартнер, управляющий «Банк де Франс», давал обед в честь Юджина Блэка, президента Всемирного Банка, оказавшегося в Париже проездом. Я не вполне случайно сидел рядом с Блэком и смог завоевать его расположение; в результате, после соответствующих переговоров, мы получили кредит.

Я навсегда запомню этот обед из-за одного удивительного совпадения. После кофе я с управляющим прошел к нему в кабинет и обнаружил там на видном месте фотографию портрета Филиппа Эгалите ребенком кисти Токе. эта самая картина принадлежала нашей семье и находилась у меня, в гостиной на улице Курсель! Заметив мое удивление, Баумгартнер объяснил, что как раз сегодня утром административный совет общества друзей Версальского замка предложил ему купить картину. Это была точная копия нашего полотна; и мы, договорившись с Жеральдом ван дер Кемпом, главным хранителем Версаля, сравнили обе картины. Та, что выставил на продажу Версаль, оказалась подделкой. Лишь благодаря случаю это удалось выяснить вовремя.

Через несколько лет мне был преподнесен еще один сюрприз с участием Вильфрида Баумгартнера. Как-то у меня с ним была

встреча во второй половине дня. Мы быстро решили деловые вопросы, но Вильфрид задержал меня у себя в кабинете, болтая о том о сем и, казалось, не обращая ни малейшего внимания на то, что уже стемнело. Задержавшись из-за этой беседы, я поехал прямо в Феррьер. Замок показался безлюдным и погруженным во тьму. Мне передали, что моя жена Мари-Элен просит немного подождать в гобеленовой гостиной. И тут я вдруг вспомнил, что сегодня мой пятидесятый день рождения и, наверное, что-то затевается, но что именно? Меня провели в большую столовую, где свет не горел. Он вспыхнул неожиданно, и человек сто гостей одновременно поднялись из-за столов с возгласом «Счастливого дня рождения!». Среди приглашенных был и Баумгартнер. Именно его моя жена попросила удержать меня в Париже, чтобы я приехал последним.

Но вернемся к «Миферме». Это было грандиозное дело. Предстояло построить более шестисот километров железнодорожных путей через марокканскую пустыню, от порта на полуострове Нуадибу до месторождения. Каждый состав состоял из вагонов весом по 20 тонн, длина его доходила до двух километров, тянули поезд два локомотива, а вели его две бригады машинистов, сменявшие друг друга с перерывом на сон. Состав шел со скоростью 12 километров в час; с вокзалами в начале и в конце пути была установлена радиосвязь. Поскольку административный совет собирался чаще всего в Мавритании, мне приходилось постоянно ездить туда. При хорошей погоде путешествие было приятным, но во время песчаной бури оно становилось нелегким испытанием.

С экономической точки зрения, это месторождение представляло собой исключительный интерес, поскольку содержание железа в руде было очень высоким. К несчастью, курс акций быстро рухнул, и, когда через много лет долг был выплачен и, наконец, наступила пора получать дивиденды, предприятие оказалось национализированным 28 ноября 1974 года! Несмотря на выплаченную по договоренности компенсацию, общая рентабельность инвестиций оказалась просто смешной. Именно подобного рода случаи и отбили у большинства западных инвесторов желание рисковать, вкладывая средства в «развивающиеся» страны.

***

Кульминация экономической деятельности Франции в Африке связана с открытием нефти в Сахаре; тогда инвестиции буквально хлынули в разработку «черного золота». Первым месторождением, введенным в эксплуатацию, было месторождение Французской Нефтяной Компании в Хасси-

Мессауде. *Я,* вместе со своей второй женой Мари-Элен и Жоржем Помпиду, был одним из первых, кто его посетил, прилетев в день открытия полетов туда «Каравеллы».

Правительство хотело собрать для развития нефтяных промыслов как можно больше средств частных инвесторов именно в тот момент, когда - сейчас это кажется смешным - рентабельность этих проектов казалась сомнительной. Были созданы специализированные инвестиционные компании, называвшиеся сокращенно РЕП (франц. Recherche, Exploitation, Petrole «Поиск, Разработка, Нефть»); правительство определило им 5 % прибыли в год, причем в первые 12 лет в целях поддержки компании эта прибыль была гарантирована. В 1955 г. «Банк де Пари» выпустил акции первой из таких компаний под названием ФИНАРЕП, а мы, совместно с банком Вормс, также выпустили миллион акций КОФИРЕП по сто франков. Месторождения в Сахаре открывались одно за другим, разжигая биржевую лихорадку, так что к 1957 г. цена на акции КОФИРЕП взлетела в 7 раз по отношению к номиналу! В течение нескольких лет акции РЕП были на Бирже фаворитами и клиенты вставали в очередь, чтобы подписаться на новые выпуски.

Ободренные этим успехом, мы создали в 1957 г. три новых инвестиционных общества, два из которых были связаны с нефтью, а одно - с рудами. Самая значительная из этих компаний - ее значение теперь, через двадцать пять лет, можно оценить по достоинству - именовалась ФРАНКАРЕП. В ней мы также выступали совместно с банком Вормс. Это было чисто спекулятивное предприятие, поскольку оно должно было вкладывать деньги только в нефть. Фортуна благоприятствовала нам, и поиски нефти неоднократно оказывались удачными. Мы с Жоржем Помпиду разместили весь капитал через частных инвесторов, созваниваясь с ними, поскольку дело было слишком рискованным для того, чтобы привлекать широкую публику. После объявления независимости Алжира все активы ФРАНКАРЕП были национализированы; за нефть была получена незначительная компенсация, за газ - и вовсе ничего. Обретение Алжиром независимости, впрочем, положило конец увлечению подобного рода капиталовложениями, столь же скоротечному, сколь бурному. Независимость Алжира, неизбежная с политической точки зрения и по- человечески желанная, тем не менее, лишила Францию основного энергетического ресурса, одновременно сведя на нет биржевую прибыль от французских вложений, большей частью экспроприированных новым государством.

Но ФРАНКАРЕП не исчезла. Ее капитал сократился на одну

пятую, и, благодаря некоторым другим вложениям, компания выжила вплоть до того момента, когда удача вновь пришла к нам вместе с инвестициями в нефть в Северном море, в Западной Африке, в Италии, в фосфаты во Флориде. Ныне ФРАНКАРЕП снова процветает.

Между 1955 и 1962 годами мы создали семь инвестиционных компаний, специализировавшихся на нефти или на другом сырье. Но, по мере того, как проходила национализация, приходилось менять их профиль. Нам стало ясно, что независимое существование таких компаний больше не оправдывает себя, и мы постепенно слили их с «Компани дю Нор», неспециализированным холдингом.

И поскольку в 60-70-х годах налоговый статус холдингов различных типов был урегулирован, «Сосьете д Инвестиссман дю Нор» и «Компани дю Нор» слились. По завершении этого процесса «Компани дю Нор» увеличила в результате последовательных слияний свои активы со 145 миллионов франков в 1946 году до 800 миллионов франков в 1968 году (которые к 1979 году оценивались в 2,4 миллиарда франков). В это время компания оценивалась приблизительно в половину стоимости акций Париба или в 60 % стоимости акций Суэцкого банка совершенно замечательный рост и более чем удовлетворительный результат.

Что же входило в «Компани дю Нор», котировавшуюся на Парижской бирже и являвшуюся предприятием Ротшильдов, поскольку банк был нашей частной собственностью?

САГА *(фр.* Societe Anonyme de Gerance et dArmement «Акционерное общество управления и судовладения»), судоходная компания, обеспечивавшая с французской стороны часть пассажирских перевозок через пролив Па-де-Кале, которая позднее занялась торговыми перевозками между портами Северной Франции и портами западного побережья Африки;

СЕГФ *(фр.* Compagnie des Etrepots et Gares Frigorinques «Компания Складов и Холодильников»), которая стала предприятием европейского масштаба по складированию замороженных и охлажденных продуктов;

СНК *(фр.* Societe Nationale de Construction «Национальная Строительная Компания»), руководители которой, столкнувшись с ожесточенной конкуренцией, постоянно сменялись, накапливая все возможные ошибки в управлении, поэтому с финансовой точки зрения компания стала у нас чем-то вроде пугала;

- Компания по переработке и продаже нефти АНТ АР, контроль над которой, после ряда разделений и слияний, в конце концов, перешел к «Компани дю Нор» и к банку Вормс. Но в нефтяной отрасли прибыльна, прежде всего, нефтедобыча,

переработка же и доставка нефти - это лишь способы, и часто дорогостоящие, для того, чтобы завоевать сегмент рынка для реализации произведенной нефти. АНТ АР, таким образом, представляла ценность лишь для производителя, старающегося расширить свой рынок, и поэтому государственная компания ЭРАП пожелала купить АНТ АР. Переговоры о цене шли очень трудно и, казалось, зашли в тупик, когда мне пришла в голову мысль обратиться с просьбой об оценке к американскому эксперту с мировым именем Уолтеру Леви, которому удалось привести обе стороны к соглашению. «Компани дю Нор» получила около сотни миллионов франков, выплаченных в течение трех лет.

Напомню, что в 1937 году «Компани дю Нор» потеряла права на эксплуатацию своей сети железных дорог, перешедшей в государственную собственность, и оказалась в том же положении, что и «Компани де л\'Эст», «Компани дю Миди», а также компании ПЛМ (Париж - Лион - Средиземное море) и ПО (Париж - Орлеан).

С 1950 года мы обратили внимание на эти компании, у которых не было главного акционера. После ряда переговоров мы смогли, с всеобщего согласия, занять преобладающее место в двух из них: ПЛМ и ПО стали таким образом филиалами «Компани дю Нор». Часть их активов естественно дополняла активы «Компани дю Нор», например акции СГФ и СЕРКО (компании, контролировавшей АНТ АР). ПЛМ, давно работавшая в сфере гостиничного дела и туризма, стала активно развиваться под управлением моего кузена Эли и оказалась очень привлекательным сектором нашего предприятия.

Новый «Банк Ротшильдов»

С середины 60-х годов стало возможно, обозревая путь, пройденный нашим банком после окончания войны, оценить размах развития дела. Банк двигался вперед благодаря собственным усилиям в коммерческой сфере, но также, и, прежде всего, благодаря интенсивной финансовой деятельности, позволившей несопоставимо увеличить активы и денежные средства, которыми банк управлял.

С 1947 по 1955 год объем вкладов совершенно не вырос (поскольку нам лишь удалось компенсировать ущерб, понесенный в результате девальвации 1950 года) и оценивался в 150 и 200 миллионов франков 1979 года. С конца 1957 года объем вкладов быстро рос и достиг приблизительно 800 миллионов франков 1979 года.

Через десять лет, к 1967 году, он не изменился, приблизившись к миллиарду.

По мере того, как дела нашей финансовой группы развивались, а «Компани дю Нор» набирала вес, сам банк, напротив, казалось, топтался на месте; слабый рост вкладов в исключительно удачное десятилетие, с 1957 по 1967 год, наилучшее тому доказательство. Вся наша финансовая деятельность, вся наша творческая энергия, в конечном счете, порождали прибыль лишь в той мере, в какой они питали банковский сектор. Конечно, рост деловой активности был благом, но, лишь увеличивая объем банковских вкладов, Ротшильды могли воспользоваться этим благом. «Компани дю Нор» развивалась, но наш банк не развивался вместе с ней, и почти все его доходы шли от коммерческого сектора.

При оценке общего роста становилось очевидным, что потенциал наших коммерческих активов оставался недооцененным, в то время как почти сказочная известность нашего имени являла собой исключительную коммерческую ценность.

Отсюда неизбежно следовал вывод - нам нужно сосредоточиться на том, что нам удается лучше: на банке вкладов. Следовало преобразовать банк в кредитное учреждение с представительствами в Париже и в провинции, организованное с учетом перспективного развития. Мы должны были одновременно и собирать вклады, и находить наилучшие возможности для вложения собранных средств. Были и другие соображения, которыми мы руководствовались, например, проблема объемов. Банк, опустившийся ниже некоторого уровня, неизбежно будет

раздавлен своими собратьями, поскольку в банковском деле, в условиях конкуренции, могущество неотделимо от объемов.

Кроме того, эти общие соображения дополнялись одной главной идеей, которая, на мой взгляд, неизбежно приходила на ум любому, кто наблюдал за движением экономики развитых стран. Большинство предприятий стремилось, во что бы то ни стало вырасти, любыми путями, часто за счет слияния, что порождало все более и более крупные объединения. Не вдаваясь в анализ причин этого явления, можно с очевидностью сказать, что оно порождено не просто стремлением к гигантизму, а скорее поисками наивысшей рентабельности вложенного капитала. Для того чтобы руководить хорошо, необходима дорогостоящая организационная структура. Чем большее число предприятий эта структура охватывает, тем менее дорогостоящей она оказывается и не обременяет прибыль от эксплуатации. И с человеческой точки зрения это справедливо - руководство, которое себя хорошо зарекомендовало, уверено в себе, как правило, не любит оказываться в подчинении у других. Оно пытается закрепить за собой управление настолько широким сектором, насколько это возможно.

Теперь, когда я пишу эти строки, я могу констатировать, что в США эта тенденция проявилась особенно ярко. Она затронула область финансов, и потому значительное число банков было выкуплено за крупные суммы финансовыми и торговыми компаниями с многомиллиардным капиталом. Я считаю необходимым привести здесь одно исключение из этого правила: банковские дома Лазар в Париже и в Нью-Йорке (а я внимательно следил за их деятельностью) смогли объединить изобретательные и талантливые умы финансовой сферы - и найти новые! Они добились процветания только за счет увеличения прибыли. Их успех меня всегда восхищал, но повторить его мне не удавалось.

В течение многих лет я постоянно пытался найти сотрудников, наделенным этим особым талантом - делать деньги. Мне удавалось найти надежных, достойных доверия управляющих, но среди них не было ни одного из тех редких волшебников, которые «изобретают» прибыль. Наверное, это происходило из-за того, что я с трудом устанавливаю контакты, не умею улавливать в разговорах окружающих идеи, пусть ненужные, но часто подстегивающие воображение, не умею прислушиваться к тому, что говорят другие. Эта неспособность, несомненно, уменьшила мои шансы поймать ту редкую птицу, которая соответствовала бы моим ожиданиям.

* * *

Но вернемся на улицу Лаффит; территория, на которой

стояли банковские здания, также не была по достоинству оценена. Легко можно было представить, даже с учетом всех трудностей строительства в центре города, как вместо неудобных 4000 (а то и меньше) кв. м возвести 16 000 кв. м., причем современных и функциональных. Мы осознавали ответственность своей семьи в том, что касается архитектурного облика города, и поэтому лишь после долгих консультаций приняли проект американской мастерской Харрисона и Абрамовица, к которому присоединился французский архитектор Пьер Дюфо.

Наши строительные и наши финансовые планы, разумеется, были взаимосвязаны, поскольку одно размещалось в другом, и то, и другое несло на себе отпечаток нашего стремления к движению вперед.

На этом этапе нашей деловой активности было возможно, на основании тех же данных и такого же анализа, пойти по пути, совершенно противоположному тому, что выбрали мы.

Если забыть о «Компани дю Нор», о различных обществах, которые она контролировала, о людях, которые там работали и были назначены нами, забыть о массе клиентов, которая покупала акции, интересовалась нашей деятельностью и, мы это чувствовали, была с нами связана, можно было бы проводить совершенно иную политику: заботиться только о нашем частном маленьком банке, сконцентрироваться на собственных активах, искать быстрого роста капитала вместо того, чтобы взяться за долгосрочное построение предприятия, в организации которого мы, конечно, выступали как инициаторы, но собственниками были лишь частично.

Продав «Компани дю Нор» и те сложные, живые структуры, что от нее зависели, в том числе и находившуюся на подъеме горнорудную компанию, мы бы, конечно, получили немалую прибыль для себя и смогли бы поискать новые вложения. Обновление улицы Лаффит также могло бы стать выгодным предприятием с недвижимостью, если бы мы не планировали использовать построенные площади для размещения нашего растущего предприятия, а, скажем, сдали бы в аренду или продали то, что не использовалось.

Могу сказать, что об этом мы даже и не думали. Мы полностью идентифицировали себя с нашим делом. Для нас было очевидно, что во Франции в период экономического роста семья Ротшильдов должна занимать свое традиционное место в авангарде прогресса, с теми людьми, которых мы взяли на работу, с нашими верными друзьями, разделявшими наши заботы и наши планы. Все компании нашей финансовой группы, как и сама группа, были отмечены именем Ротшильдов, и поэтому с ними

вели дела. Точно так же десятки тысяч акционеров «Компани дю Нор» чувствовали себя и в горе и в радости связанными с Ротшильдами и ценили это чувство.

Реальный выбор был в действительности выбором между малодушным уходом и поисками роста на тех путях, которые уже приводили к успеху, то есть в союзе с широкой публикой. Человек должен жить так, словно он не собирается умирать; соответственно, и дела следует вести так, словно они будут идти вечно. Любое предприятие, в конце концов, обретает своих людей, свое лицо. Управлять им можно, только понимая интересы дела и его цели, руководители служат этим целям, и, вместе с тем, сама личность руководителя накладывает свой отпечаток на дела его предприятия.

Итак, без всякой задней мысли мы выбрали путь развития и преобразования. Из некоего вполне простительного кокетства, мы избрали как дату начала изменений сто пятидесятую годовщину официального образования в Париже французской ветви дома «Братья Ротшильды», чья деятельность тогда ограничивалась Европой. Эта годовщина приходилась на 1967 год, и мы решили, что *я* объявлю о наших планах на пресс-конференции в «большом бюро».

Церемония прошла в мае месяце. Рядом со мной стояли мои кузены с женами, мой сын, руководство банка. Мой кузен Эдмон, управлявший собственными предприятиями, приехал, чтобы нас поддержать. Марсель Блёстейн-Бланше связался с прессой, и присутствовало много журналистов. Чтобы отметить торжественность события, я явился последним, когда все уже расселись, словно актер после поднятия занавеса. Я был спокоен, но воодушевлен. Мое выступление было тщательно подготовлено, однако я старался как можно меньше читать, чтобы говорить живо. Я объяснил, что собой представляет «Компани дю Нор», каковы ее активы, что мы уже сделали и, особенно, что собираемся сделать, начиная со 2 января 1968 года. Банк теперь становился акционерным обществом под названием «Банк Ротшильдов», его капитал существенно возрастал благодаря средствам «Компани дю Нор», теперь на 70 % акционированной. Я назначался президентом административного совета нового банка, который менял характер деятельности и становился банком вкладов.

Цель заключалась в том, чтобы привлечь как можно больше клиентов и открыть, как в Париже, так и в провинции, отделения там, где предварительный анализ рынка давал нам хороший прогноз.

Я объявил также о сносе старого здания и о строительстве

нового, интересного с архитектурной точки зрения и красиво отделанного внутри.

Ничего подобного никто не ожидал: сюрприз был полный. Появились бесчисленные комментарии в прессе, и наши решения получили самый благожелательный отклик. Короче, успех и широкая реклама.

Само собой, вслед за этим развернулась гигантская работа, начиная с выбора того типа клиентов, на которых наше имя производило наибольший эффект, и кончая созданием сети продавцов-консультантов финансовых продуктов, что должно было увеличить наши возможности для вложений. В последующие годы нам удалось купить два банка, «Дискаунт Банк», который нам уступил Джимми Голдсмит, и «Европейскую Банковскую Компанию», ранее принадлежавшую американцам и специализировавшуюся на финансировании промышленного оборудования и торговых площадей.

На Пасху 1970 года новое здание под номером 21 на улице Лаффит было открыто. Оно стояло торцом к улице, с обеих сторон были построены уступами террасы, что придавало приятное разнообразие застройке квартала. Много внимания было уделено внутренней отделке, причем не только кабинетов сотрудников, но и помещений, предназначенных для посетителей. Как эмблему мы приняли изображение пучка из пяти стрел, который в семейной геральдике символизировал союз пяти франкфуртских Ротшильдов.

* * *

Таким образом, новый «Банк Ротшильдов» начал свою деятельность в 1968 году. По прошествии ряда лет я могу утверждать, что развитие банка пошло в полном соответствии с теми надеждами, которые мы на него возлагали; к концу 1980 года общий объем вкладов превосходил 3 400 миллионов франков и банк занимал десятое место среди французских депозитных банков. У нас было двенадцать представительств в Париже и восемь в крупных городах в провинции, где работали 1350 человек.

Не обошлось без трудностей и разочарований. Нелегко налаживать работу коммерческого банка, вступая в конкуренцию со старыми компаниями, имеющими глубокие корни. Никто не предвидел ни изменения тенденций в экономике, ни кризиса, самого серьезного за последние сорок лет, может быть, и самого глубокого, и уж точно более длительного, чем кризис 1929-1931 годов.

В течение нескольких лет назначенная мной генеральная дирекция, озабоченная не столько ростом прибылей, сколько

увеличением объемов, с трудом справлялась с ростом расходов. Развитие не всегда шло гладко, контроль на разных уровнях часто оказывался недостаточным. Справедливости ради надо отметить, что и кризис нас задел глубоко именно потому, что мы развивались динамично. С другой стороны, жесткая кредитная политика, проводимая с 1972 года, также нанесла нам удар, поскольку мы располагали собственными средствами, которые могли бы позволить нам расти быстрее наших конкурентов. Как это часто бывает во Франции, эта мера способствовала закреплению на уже завоеванных позициях и не благоприятствовала движению вперед.

Однако ничто не могло поколебать прочность финансовой группы, у которой были обширнейшие резервы, оцениваемые, вдобавок, по консервативной методике. Однако для того, чтобы обеспечить солидную годовую прибыль, все более и более необходимым становилось жесткое управление. Пришлось приступить к смене персонала на самом высшем руководящем уровне. Наконец, последней управленческой команде, куда входили мой сын Давид и мой племянник Натаниэль, удалось проявить себя с наилучшей стороны, как с точки зрения методов работы, так и с точки зрения подбора людей. Что же касается моего племянника Эрика, то он, возглавив САГА, добился немалых успехов. Именно ему пришлось противостоять ударам экономического и монетарного кризиса.

Уверен, со временем Давид и Натаниэль добились бы достойных результатов, соответствующих уровню их работы, и мне остается лишь сожалеть, что национализация лишила их плодов собственного труда.

В тот момент, когда *я* сошел со сцены, у меня было впечатление, что наша семейная команда, которой я передал бразды правления, через несколько лет сможет воспользоваться плодами тех усовершенствований, что были введены нами, и будет благополучно управлять гармонично выстроенным и действенным организмом, который был уже создан.

Однако через три года банк и все зависимые от него структуры, в том числе и горнодобывающие компании, были национализированы и Ротшильдов заставили их покинуть...

Политик «из конюшни Ротшильдов»

... Густые, насупленные брови волевого человека, вечная сигарета в зубах и постоянная полуулыбка, а в глубине взгляда - легкая ирония, к которой примешивалась нежность.

Вот такой образ Жоржа Помпиду я храню в душе. Он был моим другом и, как принято выражаться, «другом наших друзей».

Мне бы не хотелось говорить больше.

Есть, однако, одно «но». Ротшильд и Помпиду- это старая история, некоторые теперь говорят об этом с удовольствием и с многозначительной улыбочкой. И если бы я промолчал, нашлись бы злые языки, пошли бы разговоры, будто бы нам есть что скрывать.

Рассказывать о своем друге легко, так хочется представить его достоинства и оправдать его недостатки. Но писать о своем друге - занятие небезопасное. Начнешь рисовать его портрет так, как велит тебе сердце, и рискуешь надоесть читателю, попытаешься передать то простое и банальное чувство общности, которое возникает при встрече двух людей, и покажешься мелочным.

А если Фортуна в какой-то момент вознесла друга, о котором вспоминаешь, на пост президента Республики, то приходится пускаться в опаснейшее плавание. С одной стороны, на правом берегу тебя подстерегает толпа зевак, жаждущих анекдотов, потому что только изнанка истории манит их особой привлекательностью «жареного». На левом берегу толпятся батальоны политических противников, которые, пренебрегая официальными портретами, выискивают какой-нибудь изъян в доспехах воина, рассчитывая, что в последний момент им откроется нечто, способное удовлетворить их ревнивое и злобное ожидание.

Боюсь разочаровать и тех и других, но я буду говорить о друге, каким стал для меня на много лет человек, с которым случай свел меня на жизненном пути. О его личности, что формировалась у меня на глазах, о том развитии, которое заставляет честных людей, найдя собственный путь, идти по нему твердым шагом.

Я попытаюсь рассказать, как в государственном деятеле продолжался просто человек, как за публичными словами и деяниями угадывались те пружины, что определяли его поступки в повседневной жизни, даже в смерти своей он остался таким же, каким был в жизни.

* * *

В течение 1953 года Рене Фийон неоднократно говорил мне об одном человеке, с которым он встречался в политических кругах, где ему приходилось тогда вращаться. Он расхваливал мне этого чиновника, занимавшего весьма скромное положение - помощника комиссара по туризму. Он меня буквально изводил, убеждая, что именно этот человек нам и нужен. Речь шла о бывшем преподавателе, ставшем чиновником. По словам Фийона, он терпеть не мог работу в государственном аппарате, считая, что там ответственность настолько разделена между многими людьми, что, в конце концов, становится невозможным довести до конца какой-нибудь проект. Этот чиновник решил перейти на службу в частную компанию, где, как он был уверен, он будет чувствовать себя лучше. Сейчас Жорж Помпиду ждал подходящего случая.

У меня не было никакого поста, который я мог бы предложить, поэтому я каждый раз давал Фийону самые неопределенные ответы вплоть до того дня, когда Рене привел ко мне Помпиду. «Нельзя ни в коем случае его упустить», - настаивал Фийон.

Встреча прошла тепло, гость показался мне приятным человеком, одновременно сдержанным и решительным. Внешность его в те годы не походила на тот образ президента, который сохранился в памяти французов. Не было в нем ничего добродушно-успокоительного, что позднее приходило на ум при взгляде на полноватую фигуру Помпиду. Он в то время был не то чтобы худым, но еще сохранял в чертах угловатость, заостренность, какую-то необычность.

Так получилось, что одна из компаний нашей группы вызывала у меня в тот период определенные опасения: я был недоволен развитием компании «Трансокеан», созданной после войны, чтобы восполнять недостаток валюты, от которого страдала Франция. Эта компания позволяла предприятиям импортировать оборудование при условии, что в стране-экспортере находился покупатель на предлагаемые в счет оборудования товары. Риски, которые мы брали на себя, казались мне не пропорциональны полученным результатам, и я искал для этой компании человека, который стоял бы «обеими ногами на земле». Надо думать, что именно такое впечатление сложилось у меня от Жоржа Помпиду, поскольку я предложил ему изучить вопрос и найти свое решение, не скрыв от него, с какими проблемами ему предстоит столкнуться. Он не колебался, казалось, преодоление трудностей его забавляло.

Первое время мы с ним виделись редко. Контора компании «Трансокеан» располагалась не на улице Лаффит, и мы

встречались лишь раз в неделю. Помпиду был по натуре сдержан, я тоже не из тех, кто быстро заводит знакомства. Так что мы лишь обменивались время от времени любезностями.

Вмешался случай - деловая поездка в Африку, связанная с развитием САГА (компания, занимавшаяся судоходством, включала в себя и «Трансокеан»), - и я попросил Жоржа сопровождать меня в этом путешествии. По Африке нас возил Мишель Пасто, старый колониальный служака, президент САГА. Мы провели две недели вместе, путешествуя по западной и экваториальной Африке, были, в частности, в Либерии, Гвинее и Сенегале. Нас было только трое, и у меня оказалась масса свободного времени, чтобы познакомиться с Помпиду, оценить широту его культуры, его многообразную личность, его любознательность и то сочетание сдержанности и душевной теплоты, благодаря которому мы очень сблизились.

Идеи Помпиду по поводу развития компании «Трансокеан» показались мне очень интересными, и я назначил его генеральным директором предприятия. Ему удалось поставить компанию на ноги, и меня немало удивило то, что успеха добился человек, быстро усвоивший доселе неизвестную ему банковскую и коммерческую сферу деятельности.

Незадолго до этого Рене Фийон, уже подцепивший в легкой форме «вирус политика» - он был казначеем РПФ («Объединение французского народа» - правая политическая партия, поддерживавшая де Голля) и членом экономического и общественного Совета, - вдруг стал жертвой «острого приступа» этой болезни. Боясь, видимо, погрязнуть в банковских делах и чувствуя, что у него другое предназначение, он лелеял мечту стать сенатором от Заморских Департаментов Франции. Фийон обратился ко мне с просьбой освободить его от обязанностей в банке, и я, естественно, согласился. (Я не припомню, чтобы в те времена закон запрещал тому, кто получает мандат политика, занимать ответственный пост в мире финансов. Человек, переходивший к активной политической деятельности, не оставался в банке только потому, что «так не принято».)

Я тогда взял на работу в качестве «банковского директора», отвечавшего за торговую часть банка, Жерара Фроман-Мёриса, одного из главных сотрудников моего старого военного друга Пьера Шеврие, который в то время занимал пост генерального директора Парижского Национального Банка. Фроман-Мёрис также захотел перейти на службу в частное предприятие. Мне оставалось найти замену Рене Фийону для управления банком в целом и, в частности, деловыми операциями, где воображение играет не последнюю роль.

Я колебался не долго. Хотя Помпиду и не был воспитан в нашем «серале», он, тем не менее, доказал, что способен быстро приспосабливаться. Впрочем, в то время понятия «менеджмента» как науки о технике руководства бизнесом во Франции не существовало, наверное, его не существовало и в Америке. Помимо некоторых определенных сфер бизнеса, где требовались профессионалы, руководство обычно поручалось людям, обладавшим обширной культурой, которые были способны обучаться.

* * *

Я тогда сделал рискованный шаг, доверившись лишь собственной интуиции, - так рискуют в игре в бридж, чтобы выбить сильную карту Помпиду сразу же оказался вознесенным с довольно скромного поста на главную ответственную должность на улице Лаффит. Я назначил его «директором». С тех пор мы работали вместе в полном согласии, каждый день обменивались идеями и обнаруживали сходство наших точек зрения в принятии решений. Короче, очень скоро мы поняли, что чувствуем и мыслим одинаково.

Пожалуй, я имею право утверждать, что у нас сложилась хорошая команда: он привносил в наш союз тот высокий интеллект, который прекрасно осваивается в конкретной обстановке, подлинный здравый смысл, в прямом значении этого слова, серьезный настрой, компетентность в вопросах управления и контроля и тот дарованный ему природой авторитет, с которым он с первых же дней стал управлять своим «генеральным штабом».

Его уверенность в собственных силах, которая проявилась сразу же, поражала меня. Казалось, Помпиду ни секунды не волновался по поводу того, что ему, в различных обстоятельствах, придется завоевывать авторитет. Позднее он признался мне, что необходимость проявлять власть по отношению к людям старшего поколения, даже по отношению к тем, кто более компетентен, никогда не смущала его. Видимо, он обладал особым даром и сочетал в себе качества, обычно не сочетаемые: очень ясное осознание своего ума и своей культуры, которые позволяли ему одерживать верх, и скромность, не позволявшая строить из себя знатока, когда чего-то не знаешь. Он, не колеблясь, принимал решения, но не боялся расспрашивать. Эта уверенность одновременно была и рассудочной, и скромной; она, несомненно, составляла одно из глубинных качеств его натуры, а затем стала основой его успеха.

Быстрое восхождение Помпиду не породило никаких проблем в его отношениях с сотрудниками. С Фроман-Мёрисом, например,

у него никогда не было никаких трений, ни малейшего соперничества.

Я уже рассказывал, как в эти годы развивался банк. Я бы не сказал, что с приходом Помпиду резко пошла вверх едва наметившаяся «дуга» успешного развития. Но не вызывает сомнения, что руководство Помпиду принесло нашей группе новый капитал доверия и прочности и одновременно внесло в работу некую разумную сдержанность. Он не принес того, что обычно приносит высокопоставленный чиновник, оставляющий государственную службу: сеть контактов с государственной администрацией или с членами кабинета министров. Помпиду уже в то время имел связи в политических кругах, но продолжал поддерживать их лично, не пытаясь вовлечь меня в круг таких знакомств, может быть, просто из скромности.

Что стало бы с банком, если бы он в нем остался? Сложный вопрос. Его осторожность, его сомнения, наверное, заставили бы нас задуматься над моей идеей по превращению «Братьев Ротшильдов» в акционерное общество «Банк Ротшильдов». Поддержал бы он мое стремление максимально развить сектор коммерческого банка? Кто теперь может сказать?.

* * *

Я знал, да и все окружающие это знали, что Помпиду интересуется политикой. Были мы и в курсе того, что политика в лице генерала де Голля начала интересоваться Жоржем Помпиду.

Однако пока речь шла о не афишируемых связях, я бы сказал, о «тайном романе», который не выходил за рамки частной жизни. Я знал, знали это мои кузены и работники банка, что Помпиду во время Освобождения входил в кабинет де Голля. И я точно знал, что де Голль консультировался с ним по многим вопросам и что Помпиду был, не выставляя это на публику, одним из доверенных лиц «отшельника из Коломбе».

Де Голль поручил Помпиду вести переговоры с издателем по поводу публикации своих «Мемуаров» - и Помпиду как-то показал мне часы, которые в знак благодарности подарил ему де Голль; на обратной стороне красовалась историческая подпись. Генерал попросил его также быть казначеем фонда Анны де Голль, учрежденного в память о больной дочери Генерала.

Это, несомненно, свидетельствовало о большом доверии, поскольку касалось тех воспоминаний, которые относят к глубоко личным.

Мои отношения с Жоржем стали довольно тесными, и он не скрывал от меня, что де Голль относился к нему почти по-родственному и часто приглашал чету Помпиду к себе в Коломбе. Жорж мог считать себя советником Генерала, своего рода

«гражданским атташе», главой его «теневого кабинета», как говорят английские политики.

Мне, конечно, было очень любопытно послушать о Генерале и узнать, что думает де Голль о современном политическом развитии Франции. Помпиду, не скрывая своих отношений с де Голлем, оставался, однако, весьма сдержанным. Он знал мои взгляды, но никогда не стремился повлиять на них или переубедить меня. Он лишь утверждал как математическую очевидность тот факт, что де Голль был не только выдающейся исторической личностью, но и гениальным человеком, обладавшим даром предвосхищать будущее. В своем мнении Помпиду был непоколебим - он восхищался Генералом, но в его восхищении не было и намека на прозелитизм, он никогда не искал встреч с де Голлем. Помпиду был убежден, что только де Голль мог еще раз спасти страну, но страна, увы, больше не слушала Генерала, и, наверное, она больше не услышит его. И потому Помпиду считал - мне он это говорил неоднократно, - что Генерал навсегда ушел с политической арены, что никогда, ни при каких обстоятельствах, он не сможет вернуться к власти. Да и кто в то время думал иначе?

Но настал день 13 мая 1958 года, алжирская лихорадка, тот неопределенный период в жизни общества, который быстро привел к убежденности, что один де Голль сможет удержать в своих руках власть, с каждым днем расползавшуюся по швам. Что же касается секретных переговоров до и после этих событий, знаменитых «13 заговоров 13 мая», то об этом Помпиду не говорил со мной никогда. Когда он хотел что-то скрыть, ему это удавалось. Более того, ему удавалось скрывать, что есть нечто, что он скрывает.

Я до сих пор убежден, что эти якобы давно организованные заговоры - всего лишь один из мифов нашей политической истории, который, подобно морскому змею, поднимается в спокойную погоду ненадолго на поверхность из глубин, а затем исчезает.

Итак, как-то в мае Помпиду заявил мне, что поедет на один день в Коломбе. Вернувшись тем же вечером, он зашел ко мне в банк и к моему крайнему удивлению признался, что с радостью и с облегчением может констатировать изменение взглядов де Голля: у Генерала нет сомнений по поводу вступления Франции в Общий рынок. Меня это поразило больше, чем Помпиду! Помпиду, поработав в стенах нашего банка, стал убежденным европейцем! Он сказал мне тогда еще одну вещь: направляясь в тот день в Коломбе, он как раз и спрашивал себя, как ему начать разговор о европейских делах с Генералом, поскольку полагал,

что идеи де Голля по этому поводу не изменились.

Позднее, когда Жорж вернулся в банк после полугода пребывания в кресле премьер-министра, мы совершили короткое путешествие в Соединенные Штаты, и *я* убедился, как ценит Помпиду американцев. И если, став главой государства, он продолжал проводить политику дистанцирования и сдерживания в отношении США, завещанную его предшественником, то делал он это вовсе не по причине личной враждебности, а исходя из политических убеждений: международная роль Франции предполагала курс, направленный на преодоление лидерства Америки и отказ от блоковой политики. Таким образом, в течение своей политической карьеры Помпиду был вынужден вести все более и более проанглийскую политику - и вспомним, что при содействии Франции Англия вошла в Общий рынок.

* * *

Однажды, также в мае того года, Помпиду пришел ко мне, чтобы подтвердить - генерал де Голль возвращается к власти, о чем говорили все. Он заявил мне, что принял предложение Генерала возглавить его кабинет.

За завтраком, проходившим тет-а-тет, он сказал, что ни в коем случае не собирается делать политическую карьеру, а лишь намерен участвовать в подготовке новой конституции. После этого он хотел вернуться в частный бизнес.

Тогда я ответил ему:

Если вы и захотите вернуться - видит Бог, как хочу этого я, - Генерал не оставит вам такой возможности.

Он возразил мне немедленно:

Видите ли, я ни в чем не считаю себя равным генералу де Голлю, за исключением одного... Я так же упрям, как и он!

Я тогда подумал, что он все-таки вернется и мне не стоит искать ему замену, пока длится этот перерыв в его карьере.

Через несколько месяцев он действительно вернулся. У власти встало новое правительство, возникла новая Республика, президентом которой стал де Голль, и Жорж счел свою политическую роль завершенной окончательно.

С тех пор Помпиду старался, по мере возможностей, держаться в стороне от политических игр, а еще менее хотелось ему выдвигаться на авансцену большой политики. Он предпочитал более скромную роль - «советник принца». Я знал, что иногда он встречается с членами правительства. По разговорам с ним, я без труда представлял, как он, в качестве «мудрого старца», раздает советы, иронизируя над слабостями одного или над праведным гневом другого. Похоже, что он приносил трубку мира в круг шаманов, объединившихся вокруг

великого вождя, выступая в роли судьи, единодушно призванного на суд из уважения к его способности судить здраво. По крайней мере, раз в неделю, обычно по вечерам, он встречался с генералом де Голлем и, как он мне иногда признавался, пытался смягчить раздражение Генерала, направленное против того или другого человека.

Но все же с 1958 по 1962 год Помпиду отдавал всю свою энергию банку, не выказывая ни малейшего неудовольствия, не демонстрируя никаких комплексов по поводу того, что он спустился с высот международной политики к конкретным делам, совершенно естественно приноравливаясь к обычной, несложной работе на «маленьком предприятии». Я счел своевременным уйти в отставку с поста президента компании «Сосьете д Инвестиссман дю Нор», уступив эту должность ему.

Однако я опасался, что «муравьиная» деятельность Помпиду в окружении Генерала, какой бы скромной она ни была, когда-нибудь вознесет Жоржа на большую высоту. Говоря точнее, я был убежден, что скоро он потребуется де Голлю, хотя сам Помпиду такого намерения не высказывал и как-то заметил мне: «Я всегда найду возможность уклониться». Впрочем, именно Генерал обычно звонил в банк и спрашивал Помпиду.

Однажды вечером, после беседы в кругу близких друзей, де Голль загнал Помпиду в угол, не оставив ему возможностей для отказа.

Было что-то вызывающее в выдвижении на первый план человека, который никогда не участвовал в большой политике, не был ни депутатом, ни министром, но де Голлю это было свойственно. Роль тайного переговорщика, которая выпала Жоржу при подготовке Эвианских соглашений, утвердила меня в моих предчувствиях. Столь важное дело, ставившее под угрозу единство нации, было вверено неопытным рукам человека, который никогда не занимался дипломатией, - это доказывало, что Генерал полностью доверял Жоржу или же не доверял профессионалам, слишком привыкшим перекраивать карту мира и утратившим чувство реальности.

Помпиду совершил мгновенный бросок с улицы Лаффит во дворец Матиньон, и легко себе представить удивление журналистов и нелицеприятные или насмешливые комментарии СМИ по этому поводу. Шутки так и сыпались; иногда среди них попадались остроумные: запомнилась газета «Канар аншене», которая по обе стороны от своего названия поместила одинаковые буквы RF, а под ними их расшифровку: слева - «Republique Franchise» *(фр.* «Французская Республика»), справа - «Rothschild Freres» *(фр.* «Братья Ротшильды»). Конечно, за этой

шуткой понимающий читатель должен был угадать грядущий приход холодного и бессердечного финансового монстра, который захватывал бразды правления государственной колесницы.

Через несколько дней Эксбери завоевал Приз Дарю в Лоншане. Один мой приятель передал мне слова какого-то завсегдатая скачек: «Ах, этот Ротшильд! Первый в Лоншане! Первый в Матиньоне!»

Газеты также радостно набросились на эту тему. «Канар аншене», например, писала: «Помпиду из конюшни Ротшильдов выигрывает Гран-при Матиньона».

Почему же Помпиду все-таки согласился занять пост премьер-министра?

Одна фраза в его письме резюмирует и подтверждает то, о чем он часто говорил: «Когда я сделаю свое дело, я уйду.» Он бесконечно восхищался де Голлем и не мог отказаться от возложенной на него миссии. Но он считал, что это продлится не долго. Ему надо лишь отладить ход машины.

Но, спросит читатель, зачем же оставаться премьером шесть лет и зачем потом становиться Президентом Республики? Это не имело ничего общего со «вкусом к власти», как могут подумать многие, ничего подобного. Жорж был по натуре боец. Как любой человек, ввязавшийся в борьбу, ставка в которой - будущее, он никак не мог считать свою миссию завершенной.

Даже если окончательный анализ подтверждает, что причины такого решения коренятся в глубинах сознания, я свидетельствую, что Жорж был человеком, менее всего обуреваемым личными амбициями.

* * *

Итак, Жорж покинул банк. Я скорее сожалел, чем гордился, видя, как один из моих самых близких друзей вышел на первые роли в большой политике. Я говорил ему, что не удивляюсь этому, оценивая проделанный им путь. Тот Жорж, с которым я познакомился, несколько робкий, слегка неловкий, слишком хорошо воспитанный и слишком застенчивый, чтобы лезть вперед, стал более раскованным и уверенным в себе человеком. Я наблюдал эту эволюцию, которая позволила выдающемуся человеку утвердиться в собственных глазах. Ни в политическом, ни в интеллектуальном плане Жорж, пройдя через улицу Лаффит, конечно, не изменился. Но в том, что касается отношений с людьми и веры в собственную звезду, он стал другим. Или, точнее, оставаясь тем же самым, стал по достоинству ценить самого себя.

Раз в месяц я обедал с ним наедине - или он незаметно

приходил в мой кабинет на улице Вандом, или меня приглашали в Матиньон. Когда обстоятельства позволяли, он по-прежнему проводил уик-энд в Феррьере, оставаясь тем же самым человеком, как обычно вступая в страстные споры с прежним внешним спокойствием, с той же уверенностью, с тем же сдерживаемым пылом.

Поскольку нас связывали с семьей Помпиду дружеские связи, нас часто приглашали на официальные празднества и приемы в честь глав государств. Елисейский дворец, Парижская Опера, Версаль.

Де Голль в зените славы, похоже, везде чувствовал себя как дома - чтобы поразить гостей, Генералу не нужны были огни фейерверков или пена фонтанов.

Он по-хозяйски принимал гостей с несколько пресыщенной и вежливой небрежностью человека, который вообще-то предпочел бы оказаться в другом месте, но не здесь. Меня несколько раз приглашали на охоту в Марли, и у меня были случаи пообщаться с ним не «по-военному», не так, как во время нашей первой встречи в Лондоне. Он был изысканно учтив, но холоден и неприступен. что же касается меня, то *я* ни разу не почувствовал, что этот человек готов разбить стекло, разделявшее нас.

Революция 1968 года

Надо было дождаться событий 1968 года, чтобы французский народ смог по достоинству оценить Жоржа Помпиду. Я считаю, что это был его звездный час, в том смысле, который имеют в виду, говоря, что испытания открывают нам человека. Когда государство распадалось на куски, когда власть рушилась, Помпиду стоял, как скала, которую ни одна буря не сдвинет с места.

Посвященная этому вопросу литература пыталась впоследствии объяснить эти события - она же их и эксплуатировала, - и эти объяснения утвердили нас в нашем мнении. Как бы то ни было, здесь не место затевать дискуссии. Если после этих событий каждый утверждал, что он все предвидел заранее, то во время событий никто не улавливал смысла происходящего.

Общество словно бродило в потемках, пока развивалась эта романтическая и одновременно опасная революция, а государство все больше и больше теряло контроль и способность действовать. Беспомощное правительство, похоже, все делало вслепую и вопреки здравому смыслу, а чудовищные демонстрации бесконечно кружились по улицам, словно кусающие свой хвост змеи.

Некоторые улетали самолетами, политики спешили вскочить в отходящие поезда, а кое-кто просто улетучивался бесследно.

Страх охватывал Париж.

Всякая логика действий исчезла. Арагон на бульваре Сен-Мишель обратился к молодежи с пламенной тирадой, но получил в ответ жестокие насмешки студентов. Речи ораторов возбуждали самые безумные мечты. В воздухе носились остроты и летали булыжники мостовых, жаркие ночи освещались огнем подожженных автомобилей, но этот праздник расшалившихся под гром петард детей грозил привести к большому пожару. Полиция не справлялась, поговаривали о введении войск. Распоряжения отдавались лениво, власти ничего не предпринимали.

А де Голль, которому приходилось вести корабль сквозь другие бури, и вести с редкостным мастерством, упустил руль из рук. Его знаменитые речи звучали впустую, его появление на телевидении выглядело, как переделка старого фильма, его решения казались нелепыми.

Он словно плыл на ощупь между забастовками на заводах и демонстрациями на улицах, растерянный, неуверенный, утратив ту инстинктивную связь с французским народом, которая и

составляла силу Генерала и которую он называл своей легитимностью. Он не только потерял нить событий, он не чувствовал самого себя и утратил политическое чутье.

Не зная, что делать, Генерал исчез.

Многие наблюдатели, тщетно пытавшиеся проникнуть в тайны необъяснимого, полагают, что де Голлю следовало сделать решительный жест и сменить премьер-министра и правительство.

Каковы бы ни были намерения де Голля в тот момент, когда он пропал на долгие часы, вернулся он «избавленным от злых духов». Вновь найдя в себе силы, которые делали его великим, он произнес судьбоносную речь - ясную, четкую, без недомолвок. Безоговорочная поддержка Помпиду высокая оценка его личности и его действий развеяли все сомнения, исчезли колебания; и перед несокрушимой уверенностью де Голля улетучилась тревога.

На демонстрацию, куда уверенный в себе Генерал призвал выйти парижан, ожидали горсточку верных ему людей, но пришли, как известно, сотни тысяч.

Париж опьянел от радости и ощущения победы. Маскарад закончился.

* * *

Лишь один человек, казалось, сохранил хладнокровие во тьме урагана - Жорж Помпиду.

Сразу же после его возвращения из Афганистана стало ясно, что он будет действовать не так, как другие. Неважно, ошибся он или нет, приказав снова открыть Сорбонну, главное - он взял бразды правления в свои руки.

Одно остается совершенно очевидным. Ни Помпиду, ни кто-либо другой, не оценил верно масштабы происходящего. Но, прибегая к терминологии верховой езды, можно сказать, что он «взял коня под уздцы» и попытался «настроить ход», как считал нужным. Его образ спокойного мудреца уже тогда контрастировал с неясным предчувствием неминуемой драмы - немного власти, немного либерализма, профессор вот-вот успокоит разбушевавшихся школяров, сколько он уже их перевидал! (Впрочем, он мне позднее объяснил причину своей кажущейся нерешительности в первые дни: после личных встреч с лидерами профсоюзов у него сложилось впечатление, что все придет в порядок, если он разрешит открыть Сорбонну. Может, кто-то ему что-то и обещал, но своих обещаний не выполнил.)

И правительство колебалось, прислушиваясь к демонстрациям, вплоть до переговоров на улице Гренель.

Об этих переговорах писали все. Для меня и, полагаю, для большинства французов, правительство в тот день пришло в себя. С того момента Помпиду владел ситуацией. В течение трех дней

и ночей всем казалось, что он вездесущ - спокойный, улыбающийся, уверенный в себе, удивлявший своей физической выносливостью профсоюзных ветеранов, потрясавший всех своим острым и ясным умом, крывшимся в этом полноватом, округлом человеке.

С точки зрения физической, нравственной и психологической он стал человеком, соответствующим своей должности. Я видел в этом отражение личной философии Жоржа: в его глазах непростительной ошибкой для политика было улыбаться своим противникам, пренебрегая теми, кто проголосовал за него. Напротив, он считал, что следует игнорировать противников и привлекать к себе их сторонников, укрепляя собственные позиции. Непоколебимый в противоположность уже сдавшей позиции буржуазии, он стал истинным героем переговоров на улице Гренель. Партия была выиграна; ситуация взята под контроль.

Повышение зарплат и другие льготы были лишь разменной монетой в уже достигнутом соглашении. Помпиду торжествовал, высоко подняв свои знамена.

Как всегда, в памяти зрителей остается последняя картина, если она достаточно ярка. Каждый, даже тот, кто не читал газет, где скопом поносили всех старых политических кляч, каждый отныне был убежден, что лишь один человек, не дрогнув, удержал кормило государства.

С того момента на стол были вброшены кости для другой партии.

Через несколько дней после переговоров Помпиду пригласил нас в Матиньон. То, что он нам рассказал, подтверждало мои впечатления стороннего наблюдателя. Однажды, в частной беседе, он, несмотря на свою обычную сдержанность, признался нам:

- На тот период приходится самый драматичный день в моей жизни. Когда де Голль исчез, ничего не сообщив о своих намерениях, сказав мне по телефону двусмысленную фразу: «Обнимаю вас», земля разверзлась у меня под ногами. Я почувствовал на плечах тяжкий груз брошенного человека и всю ответственность власти. Я не мот понять, чего хочет Генерал, и боялся худшего.

Скажу правду, никогда в жизни я так не тревожился...

* * *

Выборы в законодательные органы укрепили его статус героя. Де Голль хотел сменить правительство, но сохранить Помпиду как премьера. Жорж попросил две недели на размышление, продолжая придерживаться теории, которую он как-то изложил

мне: институты Пятой Республики могли слаженно функционировать, только если сохраняется иерархия между главой государства и главой правительства. Если премьер-министр очень долго занимает свою должность, это может привести к пагубной двойственности. А потому, считал Помпиду, ему следует, хотя бы на время, уйти из властных структур.

Его окружение и друзья, конечно, попытались уговорить его остаться; аргументов хватало. И Жорж, обычно не поддававшийся влиянию других, по зрелом размышлении, согласился с их точкой зрения.

Когда истек назначенный срок, он объявил Генералу, что согласен. Де Голль ответил кратко:

- Слишком поздно. Я только что принял другое решение.

Так случилось, что в этот день я обедал с Помпиду наедине. Он пришел совершенно потрясенным. Он метал громы и молнии, то приходя в ярость, то впадая в тоску. Жорж, всегда прекрасно владевший собой, потерял выдержку и спокойствие, всегда придававшие ему силу. В первый раз я почувствовал, что он задет, уязвлен и очень раздражен.

Тогда и для него тоже начался «переход через пустыню». Какая-то горечь поселилась в нем, его разговоры были уже не столь изысканны, скептическая сдержанность уступила место какому-то недоброму настрою.

Я решил поговорить с ним серьезно, и подвергнуть «дикому» психоанализу его отношения с Генералом, не сказав Жоржу, что выступаю в роли аналитика:

«Я уже давно хочу с вами поговорить. на трудную для вас тему. Я размышлял о той психологической ситуации, в которой вы оказались. Де Голль всегда был чудовищно холоден с близкими. Его равнодушие к людям общеизвестно; кстати говоря, отчасти это вообще свойственно великим государственным деятелям; они не могут позволить, чтобы политика страдала из-за их собственного щепетильного отношения к отдельным личностям. У де Голля, на мой взгляд, к этому добавляется что-то вроде презрения к человечеству в целом: сторонники кажутся такому человеку бесхарактерными, приближенные - корыстными, остальные люди - фальшивыми. В конце концов, как бы разнообразны ни были люди посредственные, они всего лишь ничтожные актеры на французской политической и исторической сцене. Вы же, Жорж, и только вы, смогли сломать это презрение благодаря вашим достоинствам, вашему бескорыстию, вашему таланту. За многие годы де Голль неоднократно доказывал вам свою дружбу и свое уважение. Он оказывал вам доверие в том, что касалось его частной жизни, он вас допустил в свой ближайший

круг и оставил вас в правительстве, в то время как другие были отправлены в отставку. Вы единственный, в ком он нашел сыновнюю преданность, отсутствие личных амбиций и импонировавшую ему энергию интеллекта. Вы получили удовлетворение, вы были горды тем, что овладели этой неприступной крепостью, тем, что вас оценили за ваши моральные качества и способности.

И вот одним июньским днем он вдруг стал обращаться с вами как с посторонним, избранник оказался изгнанным. Вы поняли, если бы он решил сменить премьера, вы бы согласились, но вы не ожидали, что вас могут так безжалостно выбросить.

Дорогой Жорж, у вас - сердечная рана, а не просто уязвленное самолюбие. Скажем прямо: вы думали, что Генерал любит вас, как сына, и вы ведете себя так, как если бы он был вашим отцом».

Жорж несколько минут молчал, а затем наша встреча завершилась. Только на следующий день он сказал: «Ги очень проницателен».

Жорж расстроился не потому, что его отстранили от власти. Вся беда была в том, как это сделали. С его точки зрения, отставка разрушила то представление о себе, которое у него сложилось. Высокомерный и невежливый ответ Генерала, холодность и неприступность, которые Помпиду не раз наблюдал в отношениях де Голля с другими людьми, теперь затронули его лично.

Я не сужу Генерала, который, *я* в этом уверен, вовсе не хотел убрать Помпиду. Напротив, де Голль, несомненно, видел в нем достойного преемника себе. «Отправьтесь путешествовать, пусть вас узнают за границей», - посоветовал он Жоржу. Политическое завещание де Голля, которое он доверил Помпиду, - и не забрал, несмотря на установившиеся между ними прохладные отношения, - то завещание, которое Помпиду должен был обнародовать в день смерти Генерала, еще одно тому свидетельство. Если де Голль с кем-то и хотел свести счеты, так это с Францией, или, скорее, с теми французами, которые больше не желали иметь с ним дело. И референдум 1969 года, который многие близкие к Генералу люди, в том числе и Помпиду, считали самоубийственным, был, в конце концов, лишь безнадежной попыткой рассеять сомнения, бросить вызов внешним обстоятельствам и обрести утраченные контакты.

Во всяком случае, Жорж, долгое время продолжал жить с травмой в душе. Он не мог простить тех, кто его предал. Для него теперь существовали только настоящие друзья, которые проявили себя мужественно, говорили с Генералом или пытались с ним поговорить, и жалкие люди, позорно его бросившие. Говорят

даже, но у меня нет тому доказательств, что Жорж носил с собой черную записную книжечку, куда были записаны имена тех лиц, кого он окончательно вычеркнул из списка знакомых.

* * *

Когда Жорж стал Президентом Республики, наши встречи стали реже. Может быть, в силу молчаливого соглашения мы оба решили, что не стоило подставлять себя под огонь критики. Он слишком уважал свой пост, чтобы ходить в гости, даже к очень близким людям, поэтому в Феррьер он больше не приезжал.

За два месяца до его смерти мне довелось пообедать с Помпиду наедине. На этот раз он производил такое же впечатление, как всегда. Он чувствовал себя хорошо, вставал, садился, смеялся; у него был живой взгляд и нормальный цвет лица. Я ощутил радость и облегчение, мне показалось, что мы вернулись на пятнадцать лет назад, и я подумал, что ему лучше.

Один из ближайших сотрудников Жоржа Помпиду рассказал мне потом, что президент, не упоминая о своей болезни, как-то дал ему понять, что скоро намеревается уйти в отставку. Однако казалось, что он собирается «что-то предпринять», начать заново, во всяком случае, прежде чем уйти, он хотел что- то совершить. Теперь никто не узнает, что именно.

Еще слишком рано, чтобы судить о месте Жоржа Помпиду в истории нашей страны. Я думаю, со временем его значение лишь возрастает.

Позвольте мне высказать несколько очевидных истин. Кое-кто хотел бы преуменьшить его деятельность, свести ее к простому желанию индустриализировать Францию. Конечно, это так, но им был задан общий ход событий. Парадокс заключается в том, что этот почвенник, воспитанный средиземноморской культурой, всеми силами и всей волей способствовал ускорению этого процесса. Но не это главное.

Жоржу Помпиду выпала тяжкая доля - он принял огромный груз наследства. Главе государства, одиноко царившему на Олимпе, должен был наследовать глава государства, близкий простым французам. Само по себе то, что приход преемника не сопровождался «поражением в правах», мне кажется чудом. Переход от сверхчеловека к нормальному человеку произошел с помощью политика, выглядевшего добродушным увальнем, и произошел с точки зрения Истории мгновенно. И то, что после ореола, окружавшего Генерала, у французов не возникло ощущения, что прекрасная статуя Президента Республики низвергнута с пьедестала - ив этом тоже заслуга Помпиду.

Институты Пятой Республики обрели стабильность лишь благодаря ему. После величия и мечтаний необходим был

реалист. Жорж Помпиду смог сыграть эту роль, хотя и был человеком чувствительным и поэтичным. С этим президентом, воспитанным в близости к родной земле, Франция сумела пойти вперед, пойти медленным шагом землепашца, который не торопясь идет до конца борозды.

Наша транснациональная корпорация

Накануне войны вся моя энергия по вполне понятным причинам была направлена на реконструкцию нашего доброго старого банка, однако я, тем не менее, не упускал из виду ту среду, в которой мы, банкиры, работаем; не забывал я и о том, что Ротшильды давно связаны с промышленностью. Какую роль в этом деле сыграло наше - мое и моих кузенов - желание действовать, какую роль сыграл случай, не всегда, впрочем, оказавшийся счастливым? Сегодня трудно точно определить причины, по которым французским Ротшильдам удалось создать компанию, ставшую одной из самых значительных транснациональных компаний Франции: ИМЕТАЛ.

Это было нелегким, но увлекательным делом. В течение тридцати лет после Второй мировой войны экономическое и социальное развитие Запада, приведшее к процветанию, шло неравномерно. Вполне справедливо и много говорили об американском «буме» и о японском или немецком «чуде», ибо сама эпоха благоприятствовала делам большого размаха. Это сопоставимо с тем, как если бы виноградники Лафита давали тридцать лет подряд небывалый урожай. Вот такого размаха дел во Франции как раз и не было, если исключить некоторые крупные предприятия, такие как Сен-Гобен, П. Ю. К. («Пешине»). Не хватало его и нам.

В XIX веке наша семья постоянно занималась вложениями в добывающую промышленность, но нам никогда не удавалось получить контроль над предприятиями, в которые мы инвестировали. И, должен признаться, когда в 1962 году я смог уделить больше времени этому сектору, у меня не было ни малейшего представления, как далеко заведет нас развитие моих новых проектов. Эта история разворачивалась на протяжении почти двадцати лет: с 1962 по 1981 год.

Конкретный и осязаемый результат работы по освоению месторождений резко контрастирует с несколько монотонной абстракцией цифр и счетов, среди которых живет банкир. Работа с месторождениями - это работа с землей, с которой связаны люди, родившиеся, как и я, под знаком Тельца. Наконец, поскольку промышленность сосредоточена в основном в развитых странах, освоение месторождений дает возможность вдохнуть воздух нетронутых просторов.

Наша семья числилась среди основных акционеров одной

британской компании под названием «Рио Тинто», которая называлась так, поскольку с XIX века занималась эксплуатацией месторождения меди в Испании, на берегу реки, видимо, окрашенной этим «красным металлом». К началу войны запасы меди были почти исчерпаны, и компания занималась в основном добычей серного колчедана. Так повелось, что половина капиталов «Рио Тинто» принадлежала французским вкладчикам и два француза заседали в административном совете. Наш Лондонский Дом имел тесные связи с «Рио Тинто». Значительная доля, которую мы имели в капитале компании, позволяла нам, французским Ротшильдам, назначать этих администраторов. При жизни моего отца никто из Ротшильдов обычно не входил в совет акционерного общества, поскольку мы его не контролировали полностью, но в 1955 году я изменил этому обыкновению и решил, пользуясь отпуском, предложить свою кандидатуру на пост одного из администраторов «Рио Тинто».

Это было очень благожелательно воспринято, и я более чем двадцать лет заседал в совете компании - это были двадцать лет непрерывного повышения квалификации, как принято говорить сегодня. За эти годы компания пережила невиданный подъем и стала одним из самых крупных транснациональных предприятий в мире и самой большой горнодобывающей компанией в Европе.

Однако в 1945 году ее активы ограничивались месторождением в Испании! Но благодаря исключительному таланту ее президента, сэра Вэла Дункана, которого позднее сменил мой друг сэр Марк Тернер, «Рио Тинто» развернула свою деятельность в Африке, в Австралии, в Южной Америке, в США и в Канаде, добывая уран, свинец, цинк и даже изумруды. Эта добывающая и обрабатывающая империя была создана в результате серии смелых, но хорошо продуманных операций. Националистическая политика Испании привела к тому, что нам пришлось накануне войны продать предприятия, расположенные в этой стране, а также большую часть испанских месторождений. Правительство разрешило оплатить стоимость этих продаж в фунтах стерлингов. Получив наличный капитал, Вэл Дункан приступил к разработке новых месторождений, прибегнув к банковским ссудам, частично обеспеченным гарантированными контрактами на покупку будущей продукции, на которые подписывались наши будущие клиенты. Удача следовала за удачей, и «Рио Тинто» присоединила к себе другие, менее значительные компании, а затем начались переговоры с крупным предприятием по добыче свинца и цинка под названием «Консолидейтед Цинк». В результате «Рио Тинто» получила свое нынешнее название «Рио Тинто Цинк». Биржевой курс акций

вырос в несколько скачков, что позволило без труда увеличить капитал, поскольку акционеры внесли значительный объем собственных средств.

Меня очень увлек процесс развития этого общества, которое оказалось для меня своего рода школой, где я обучался, принимая участие в бесчисленных собраниях. Я встретил там замечательных людей, таких как лорд Каррингтон, который позднее стал министром иностранных дел в правительстве Тэтчер, и смог, общаясь с ними, осознать и освоить международный масштаб ведения дел, о котором большинство французских предприятий до сих пор понятия не имеет.

Впрочем, это был нелегкий интеллектуальный труд. И я вовсе не удивился, когда однажды один из членов административного совета попросил, чтобы его филиалу разрешили оплатить расходы на психиатрическое лечение генерального директора, ставшего жертвой депрессии.

* * *

Наша семья была держателем 10 % капитала другой горнодобывающей компании, «Пенарройя», созданию которой в 1881 году мы способствовали и в которой мы оставались главными акционерами.

Компания «Пенарройя» занималась разработкой угольного месторождения в Испании. История открытия этого месторождения весьма забавна: у одного местного пастуха была собака по кличке Эль Террибле; пока хозяин отдыхал после обеда, пес носился по окрестностям. Часто, когда собака возвращалась, ее ошейник оказывался вымазанным в чем-то черном. Это заинтересовало пастуха, он как-то раз направился вслед за ней - вот так и было открыто месторождение угля в деревне Пенарройя, где до сих пор в музее выставлен ошейник Эль Террибле.

В дальнейшем компания занялась разработкой месторождений свинца и цинка в Испании, Франции, Италии, Черной Африке, в Бразилии, а также небольших месторождений меди в Чили.

Производство свинца и цинка, двух металлов, которые обычно содержатся в одной руде, всегда было делом нелегким. Небольшие месторождения разбросаны на нашей планете повсюду, и свинец, использование которого восходит еще к древности, до сих пор добывается, плавится и очищается ремесленными методами. Нет никакой возможности скоординировать добычу и определить потребности в этом металле, и достаточно небольшого перепроизводства, чтобы курс акций рухнул. «Пенарройя» владела шахтами по добыче цинка и свинца, разбросанными по Франции, Испании, Италии, Греции,

Северной Африке и Южной Америке. Большая часть месторождений была низкорентабельной, многие обогатительные и литейные фабрики - маленькими или устаревшими и неэффективными. Модернизация требовала значительных вложений, а ориентация на понижение курса акций опустошала казну.

С 1884 года наша семья интересовалась также и никелем. Именно в это время дом «Братья Ротшильды» поддержал компанию «Ле Никель» (С. Л. Н.), основанную за четыре года до этого для поисков и разработки месторождений в Новой Каледонии. Никель, с древнейших времен и до XVIII века, рассматривали не как металл, а как сплав металлов. Лишь в 1650 году саксонские шахтеры, разрабатывая серебряно-кобальтовые и медные месторождения в горах, встретили металл, при очистке принимавший иную окраску, чем металлы, которые они добывали. Им не удалось выплавить его, и они забросили работу над этим странным металлом, которому дали имя «купферникель». Шахтеры суеверно считали, что тут не обошлось без злокозненного вмешательства горного карлика Ника (его брат, гном Кобальт, уже поспособствовал крещению одноименного металла).

Что же касается месторождений Новой Каледонии, то они были открыты в 1880 году французским горным инженером Жюлем Гарнье, которому поручили провести подробное исследование подземных богатств острова. Он, вместе с тремя друзьями, основал в Нумеа через несколько лет первый литейный завод, а потом компанию С. Л. Н.

Между Первой и Второй мировыми войнами компания процветала, используя ремесленные способы производства, исключавшие быстрое развитие. После 1945 г. проблемы, возникшие у этого предприятия, заставили меня принять нелегкое решение. Мне удалось добиться, чтобы Луи Дево, оставивший французский филиал компании «Шелл», согласился заняться никелем. В отличие от свинца и цинка, никель встречается в земле редко, и добыча его может вестись только мощными промышленными разработками. Этот металл используется во многих целях, но, в основном, его включают в состав специальных сталей, которые никель делает нержавеющими.

Я обратил внимание на то, что мировое потребление никеля со времен мировой войны постоянно росло на 5 % в год и что ИНКО, первый мировой производитель, была очень успешной компанией. Кроме того, пока французская валюта оставалась слабой, то есть до 1960 года, было несомненно выгодным

производить во Франции сырье, которое продавалось за доллары.

Но, несмотря на благоприятное стечение обстоятельств, у нашей компании были проблемы. Во-первых, следовало профинансировать и осуществить обширную программу по экспансии (к этим планам была готова присоединиться американская компания «Кайзер Алюминиум»); во-вторых, следовало добиться реформы налогообложения в Новой Каледонии, которое тормозило экономическое развитие, поскольку налог высчитывали исходя из объема деловых операций, вместо того, чтобы облагать им только доходы.

* * *

В 1961 году Рене Фийон рассказал мне о финансовых трудностях «Пенарройи», где он был вице-президентом с тех пор, как оставил банк.

Мы перестроили структуры и приняли на работу, по совету Жоржа Помпиду, тогда директора банка, молодого инженера по имени Бернарде Вильмежан, который в течение года занимался углубленным изучением ситуации. После чего было решено, что мы возьмем дело в свои руки, Помпиду примет основную ответственность на себя, а *я* стану президентом. Судьба в лице генерала де Голля решила иначе: на Пасху 1963 года Помпиду был назначен премьер-министром. Я решил не искать ему замены и сам впрягся в работу.

Итак, я, несколько, на мой взгляд, неожиданно, оказался главой предприятия, чьи акции котировались на бирже, руководимого высококвалифицированным штабом горных инженеров и техников. Там трудились несколько тысяч человек, разбросанных по Франции, Испании, Италии, Северной Африке, Южной Америке. Естественно, моей первой заботой было утвердить свой авторитет и завоевать доверие руководящей элиты, чтобы обеспечить Вильмежану беспроблемное продвижение к высшим должностям в компании.

Естественное обаяние, доброе расположение, простота, талант и ум молодого инженера проявились столь очевидно, что стало возможным назначить его генеральным директором гораздо раньше, чем я рассчитывал. Но с самого начала мы с ним работали как единая команда, и в течение семнадцати лет наше взаимное доверие оставалось неколебимым; а потому я попросил его заменить меня на посту президента компании, превратившейся к тому времени в ИМЕТАЛ.

Перед новой командой, принявшей на себя в 1962 году руководство «Пенарройей», встали серьезные трудности. Во-первых, мы столкнулись с проблемами технического характера, из которых самым сложным оказалось внедрение новой модели

цинкоплавильной печи в Нуайель-Годо, около Сен-Кентена. Печь, рассчитанная на выплавку 30 000 тонн в год, далеко не достигала этого уровня. Но после нескольких лет работы инженерам удалось вывести ее годовую мощность на рубеж в 120 000 тонн!

И, во-вторых, появились проблемы коммерческого характера, поскольку компания еще не имела средств, чтобы самостоятельно обеспечить продажу своей продукции. Затем следовали финансовые проблемы, в результате которых мы приобрели несколько небольших предприятий по вторичной переработке использованных металлов и по производству окисей свинца и цинка, а также некоторые другие производства, остававшиеся в совместном пользовании с компаниями «Астюрьен де мин» или «Пешине». Мы отказались от наших месторождений в Сардинии, поскольку не было никакой надежды сделать их рентабельными.

В 1967 году кризис, затронувший всю металлодобывающую промышленность, завершился, наметился подъем, и я решил, что «Пенарройе» необходим приток капиталов, чтобы уменьшить задолженность и справиться с проблемой переоснащения в Нуайель-Годо и на многих других разработках. Благодаря моему опыту работы в «Рио Тинто», я понял, что жизнеспособность промышленного предприятия зависит от его финансовой мощи. Я постарался достойно обеспечить финансовые возможности компании. Я решил, что надо провести подписку для увеличения капитала «Пенарройи», выпустив 1 600 000 новых акций на общую сумму в 160 миллионов франков. Акционеры обеих компаний, во время общего собрания, одобрили мое решение, и оно было воплощено в жизнь.

Эта операция уже была выстроена по правилам той стратегии, которая в дальнейшем получила быстрое развитие.

«Компани дю Нор» постепенно поглотила компанию КОФИРЕП и акционерное общество «Инвестиссман дю Нор». Поскольку акции «Пенарройи» имелись и там, и там, оказалось, что в одних руках сосредоточились акции, представлявшие более 50 % капитала компании. Реструктуризация, которой подверглись холдинги, контролируемые нашим банком, должна была в том, что касалось добывающих компаний, пойти еще дальше. Я хотел соединить «Пенарройю» и «Ле Никель» в одну компанию с единым руководством, которая занялась бы выработкой всей гаммы нежелезистых металлов.

Итак, «Компани дю Нор» держала 10 % капитала «Ле Никель» и 50 % капитала «Пенарройи». Я провел тогда следующую операцию: «Компани дю Нор» передала «Ле Никель» свои 50 % капитала «Пенарройи» и получила взамен акции «Ле Никель» в пределах 20 % капитала.

По завершению этих двух операций «Компани дю Нор» стала самым крупным акционером «Ле Никель», а эта компания приобрела, помимо собственных разработок, более половины капитала «Пенарройи», ставшей теперь филиалом «Ле Никель».

Вскоре после этой фундаментальной перестройки Вильмежан узнал, что Суэцкая Компания располагает значительным пакетом акций старого горнодобывающего объединения «Компани де Мокта», которое уже не ведет непосредственных разработок. Суэцкая Компания желала от него избавиться. Я провел переговоры с Жаком Жоржем-Пико, президентом Суэцкой Компании, по поводу обмена акций «Мокта» частично на денежные суммы, а частично на акции «Ле Никель». Операция была проведена так успешно, что «Ле Никель» приобрела более 90 % акций «Мокта». К этому времени компания «Ле Никель» располагала разработками, по которым и именовалась, и имела в качестве филиалов «Пенарройю» и «Мокта». «Компани де Мокта», после реорганизации и интеграции ее руководства, оказалась очень прибыльной и смогла приносить растущие из года в год доходы. Среди прочего, она контролировала объединение «Хуарон», еще одну старую французскую горнодобывающую компанию, работавшую в Перу, которая потом полностью слилась с «Мокта».

* * *

Моя финансовая деятельность этим далеко не ограничивалась. В качестве президента финансовой группы мне приходилось, и эта обязанность была мне в удовольствие, лично выезжать на место.

Так я открывал серебряные разработки в Ларжантьере на юго-востоке Франции в тот год, когда только что приступил к своим обязанностям, а через пятнадцать лет всего в 100 километрах от Ларжантьера торжественно открывал разработки цинка в Альби. Я посетил множество шахт и фабрик, помню, например, свинцово-цинковый литейный завод в Испании около Картахены, помню, как принимал участие в открытии нового литейного предприятия в Кротоне, в Апулии на юге Италии. Мне очень нравились эти поездки, несмотря на их некоторую торжественность. Ритуал всегда был одинаков: меня принимало руководство, я беседовал с местными властями, и в мою честь устраивали торжественный обед, где присутствовали сотни приглашенных; мне приходилось брать слово, чтобы рассказать о том, как счастлива наша компания, как серьезны ее намерения, как чисты ее помыслы!

Мне приходилось часто ездить за границу, в том числе в Южную Америку и, естественно, в Новую Каледонию, где я открывал завод в Нумеа, перестроенный совместно с компанией

«Кайзер Алюминиум». По этому случаю наш компаньон Генри Кайзер, сын знаменитого промышленника, построившего в войну серию кораблей «Либерти Шип», пригласил меня в Сан-Франциско. Принимали меня и моих сотрудников прекрасно. Меня попросили, после одного обеда, выступить перед группой финансистов. Смешно вспоминать, что в это время доллар был слабой валютой, и американская пресса с горечью писала, что европейские валюты слишком сильны. Совершенно обратное мы наблюдаем ныне. Я объяснил слушающим, что феномен монетарной эрозии существовал всегда, но реакция американцев мне напоминает жалобы капитана тонущего корабля, сожалеющего о том, что другие корабли тонут не так быстро. Мои слушатели посмеялись от души.

С 1972 года появились первые приметы надвигающегося экономического кризиса, и рынок металлов, как всегда, среагировал чутко. Луи Дево сказал, что необходимо переговорить с правительством по поводу «Ле Никель» и попытаться добиться замены устаревшей и неэффективной системы налогообложения на более современную. По его мнению, такие переговоры мне удались бы лучше, чем ему. Уступив его настойчивым просьбам, я оставил место президента «Пенарройи» и возглавил «Ле Никель».

В 60-е годы, во время экономического подъема, мы стали компаньонами американского общества «Кайзер», с тем чтобы достичь значительного роста производства на нашем литейном заводе в Нумеа. В то время производство никеля на таком богатом месторождении, каким было месторождение в Каледонии, приносило большую прибыль. Но капиталы, потребовавшиеся для расширения производства, намного превзошли средства компании, которая залезла в долги, чтобы внести собственную долю инвестиций. Едва лишь проявились первые признаки кризиса, руководители «Кайзера» встревожились и выразили желание выйти из дела. Никогда не стоит сохранять партнерство, если твой компаньон не желает. Но как выкупить долю «Кайзера»?

Пока я размышлял над этой проблемой, казавшейся неразрешимой, Пьер Гийома, президент «Петроль Акитен», проявив любезность, сообщил мне, что его компания собирается заняться производством никеля на другом месторождении, также в Каледонии.

Прежде чем сделать очевидные выводы из его визита, *я* решил немного подумать. Следовало выработать такой план действий, который одновременно позволил бы решить наши проблемы и способствовал бы утверждению в Каледонии

компании «Петроль Акитен», которой не пришлось бы нести все расходы по созданию новых структур. После нескольких месяцев переговоров мы достигли с Пьером Гийомом согласия: все предприятия по производству никеля объединялись в независимую компанию, которая выкупала долю «Кайзера», а половина этой компании передавалась «Петроль Акитен» за 573 миллиона франков. И новое объединение наконец-то смогло добиться в Новой Каледонии несколько более благоприятного налогообложения, чем его предшественники.

Наша собственная горнодобывающая компания, объединявшая предприятия всех отраслей и все филиалы, до этого времени носила название «Ле Никель», оно осталось за вновь созданной компанией. Но в 1974 году мы решили подобрать более «современное» имя и назвали новую группу ИМЕТАЛ.

Дело началось удачно. Но следовало еще поработать, чтобы достичь международных масштабов. Важным козырем в наших руках была всеобщая уверенность в будущем никелевой промышленности. Первый визит Пьера Гийома почти совпал по времени с неафишируемым интересом к моей персоне со стороны Иена Мак-Грегора, президента американской компании АМАКС, которая хотела бы стать нашим компаньоном в добыче каледонского никеля. (Вот уж действительно - никто без него не мог обойтись!) Я заблаговременно предупредил его, что он - не единственный кандидат и что приоритет принадлежит его конкуренту. Он подумал, что я просто набиваю цену. Потому, не предупредив меня, Мак-Грегор начал скупать на бирже акции ИМЕТАЛ в довольно больших объемах. Он хотел занять сильные позиции среди акционеров и вынудить меня начать переговоры. Из-за его покупок курс акций ИМЕТАЛ значительно возрос, а я, несмотря на все поиски и подозрения, не мог понять, кто же этот тайный покупатель, вплоть до того дня, когда было официально объявлено о нашем партнерстве с «Петроль Акитен». Покупки на бирже моментально прекратились, поэтому я понял, кто скупал акции. АМАКС уже приобрела более 10 % капитала ИМЕТАЛ. Такие закупки со стороны группы, с которой мы вели переговоры, меня очень задели. Когда Мак-Грегор через несколько месяцев пришел ко мне, я принял его подчеркнуто холодно.

В то время я прекрасно отдавал себе отчет, насколько рискованна была операция с «Ле Никель» и как опасны долги, которые накопились в процессе расширения этой компании. Но я не сомневался, что продажа половины ее активов позволит одновременно снять с нас этот неподъемный груз и взять под контроль американскую компанию, стоимость которой должна

сохраниться и, более того, возрасти, несмотря на неблагоприятную экономическую конъюнктуру.

Действительно, как только был заключен договор с «Петроль Акитен», мы принялись искать новые возможности для вложений заплаченной нам за продажу суммы, которые могли бы укрепить позиции ИМЕТАЛ и сделать более разнообразной деятельность этой компании. Мы обратили наш взгляд на США, где мы раньше не работали и, в частности, на перерабатывающую промышленность. Филиалу банка Ротшильдов в Нью-Йорке «Нью Корт Секьюритиз» (сейчас он называется «Ротшильд Инкорпорейтед») совместно с «Кюн Лооб», одним из филиалов «Инвестмент Банк» Нью-Йорка, было поручено подыскать предприятия, которые по объему производства и по типу деятельности нам бы подошли. После долгих поисков и отсеивания неподходящих кандидатур наш выбор остановился на компании «Коппервельд». Эта металлургическая компания, правление которой находилось в Питсбурге, выпускала стальные трубы и специальные сплавы: медь или алюминий в соединении с железом. Мы знали, что руководитель «Коппервельд», Филипп Смит, - человек сложный, который будет драться за свою независимость. Поэтому операция готовилась в большом секрете, как военное наступление. Американские адвокаты предупредили меня, что мне придется противостоять довольно неприятным атакам. Я заверил всех заинтересованных лиц, что, если я возьмусь за дело, ничто не заставит меня отступить. Мы с Вильмежаном весной несколько раз приезжали в Нью-Йорк, подготавливая наше публичное предложение о покупке.

* * *

За несколько дней до назначенной даты, в августе 1975 года, акции стали ненормально расти в цене, из чего следовало, что явно произошла утечка информации. Мы решили немедленно объявить о нашем намерении купить «Коппервельд» и тут же оказались на линии огня. Первый контакт между Вильмежаном, нашими финансовыми советниками и Смитом закончился полным провалом: нам была объявлена война. Дело было передано в Питсбургский суд, деятельность по приобретению акций оказалась заморожена, и потянулся судебный процесс.

Суд должен был решить, нарушает или нет наше предложение о покупке какой- нибудь американский закон, в том числе антимонопольный закон.

Судебная процедура в США совершенно отлична от французской. Нет судебных прений, каждая из сторон через адвоката ведет допрос противника и получает полный доступ к его документации. Цель состоит в том, чтобы подловить врага на

противоречии и сбить его с толку. Во время слушаний истец вызывает представителей сторон или свидетелей по своему выбору. Затем защитник вызывает собственных свидетелей и переходит к перекрестному допросу противоположной стороны.

Процесс начался с допроса Вильмежана, которого адвокат наших противников поджаривал на медленном огне в течение двух дней. Прежде чем наступила моя очередь, *я* смог прочесть развернутый отчет об этом допросе. К моему удивлению, наши юристы советовали мне быть как можно лаконичнее, так, чтобы выглядеть или малоинформированным, или не очень умным. Идеальными считались ответы «да» или «нет», а также «не знаю». Наш адвокат даже заставил нас отрепетировать роли, организовав подобие допроса, и, конечно, поскольку мы ему доверяли, то буквально последовали его советам.

События вызвали большой интерес у публики. В отеле в лифте ко мне обратился какой-то незнакомый человек и сказал, что надеется на мою победу: он играл на бирже в расчете на успех нашей операции.

Меня вызвали на заседание комиссии, возглавляемой сенатором от штата Огайо, потому что руководство «Коппервельд» пустило слух, что мы якобы закроем завод в этом штате, если выиграем дело. По совету адвоката, я вежливо отказался предстать перед комиссией. В Вашингтоне перед Капитолием и перед американским посольством состоялись демонстрации профсоюзов, которые прошли с враждебными «Барону» лозунгами. В прессе появилось немало статей, одни «за», другие «против» моего «вторжения» в США. Парламентарии и чиновники раздавали интервью, так что к делу пришлось подключиться посольству Франции в Вашингтоне и американскому посольству в Париже.

Суд собрался в середине сентября в Питсбурге, и было решено, что я буду присутствовать на всех заседаниях, чтобы освоиться с судебной процедурой, а также для того, чтобы проявить внимание и уважение к судье, который вел весь процесс от начала до конца. На второй день, когда я во время перерыва на обед выходил из здания суда, меня остановила группа профсоюзных деятелей, которая хотела передать мне петицию со 100 тыс. подписей в больших полотняных мешках. Последовала короткая беседа, которую потом передали по местному телевидению: речь шла о том, что я не могу унести все эти мешки, а также об отсутствии у меня тайных намерений по поводу ликвидации рабочих мест. Затем я обменялся с ними рукопожатиями и улыбками и удалился. Адвокат объяснил мне, почему протест выражался столь сдержанно: «Не забывайте, здесь

голосуют за республиканцев». Судья очень плохо воспринял известие о демонстрации перед зданием суда и приказал «маршалу» выводить меня через заднюю дверь.

Смит и его адвокат попытались доказать, что ИМЕТАЛ и я лично являемся участниками тайного заговора, куда входят все частные или общественные организации, прямо или косвенно с нами связанные. И в этой огромной паутине барахтался несчастный маленький «Коппервельд», ставший нашей жертвой.

На следующее утро я весь день выступал в суде. Согласно полученным указаниям, я отвечал кратко, лаконично, терпеливо на бесконечный список вопросов, который мы уже двое суток репетировали. Через час или два я не смог удержаться от некоторых едва заметных уколов, которые несколько сбили самоуверенность адвоката противника, заставили улыбнуться аудиторию и встревожили моего адвоката. В какой-то момент адвокат противоположной стороны напомнил о кодовом названии, которое мы, во время наших переговоров в Париже, использовали для трех заинтересовавших нас американских корпораций. Мы их называли (по-английски) «хлеб», «чеснок» и «масло», «Коппервельд» именовался как раз «хлеб». Чувствуя, что судья, сидевший несколько выше свидетельского места, был ко мне расположен, я повернулся к нему и прошептал: «Хорошо, что «хлеб», чеснок я терпеть не могу». Он мне ответил: «Я тоже». И негромко добавил: «Уверен, после этого вы с удовольствием выпьете двойной виски».

Во время перерыва между заседаниями я встретил Филиппа Смита, и каждый из нас убедился, что его противник не так уж чудовищен, как казалось. Я закончил к середине дня и, признаюсь, своим выступлением на суде остался весьма доволен.

Питсбург - большой город, но это все-таки провинция, и появление европейца, носящего знаменитую фамилию, говорящего на оксфордском английском, одетого со вкусом, «с благородными сединами», как написала одна газета, стало для жителей настоящим спектаклем, на котором «стоило задержаться».

Прежде чем сесть в самолет на Париж, еще не остыв от моего выступления в суде, я был приглашен на обед в еврейскую общину Питсбурга.

***

Решение суда появилось лишь три месяца спустя: мы выиграли! 10 декабря 1975 года операция была доведена до конца - за 80 миллионов долларов мы приобрели 2/3 капитала компании. Между тем, общественное мнение окончательно склонилось на нашу сторону, и руководство «Коппервельд»

вполне дружественно согласилось пойти на контакты с нами. Филипп Смит был назначен администратором ИМЕТАЛ, и наши отношения с «Коппервельд» стали вполне деловыми.

Филипп Смит несколько позже оставил свой пост из-за некоторых трений в его штабе, но между ИМЕТАЛ и нашим новым филиалом никакого конфликта интересов не было. Его преемник, Энтони Брайан, руководящий «Коппервельд» до сих пор, действенно и умело обеспечил рост компании, тем более что происходило это в самый разгар экономического кризиса.

Чтобы ничего не упустить, добавлю, что, выполняя программу диверсификации собственной деятельности, ИМЕТАЛ, осуществив эту важную операцию в США, приобрел 25 % капитала «Лид Индастриз Групп», американской компании, занимавшейся, среди прочего, разработкой месторождений свинца. Затем, после сложных переговоров, мы смогли приобрести почти полностью самое большое во Франции и за границей частное предприятие по производству урана: «Компани Франсезде Минере д'Уранием», в создании которого мы выступали как компаньоны.

Каков же итог двадцати лет борьбы? «Пенарройя» в разные годы оказывалась то первым, то вторым производителем свинца в мире; «Ле Никель» был вторым наравне с «Фалькон-бриджем» в своей отрасли. «Минемет», торговое предприятие нашей группы, создало эффективную международную сеть; наконец, Исследовательский центр Трапп стал известен благодаря своему очень высокому уровню технических и промышленных разработок.

В 1980 году консолидированная прибыль ИМЕТАЛ превосходила 200 миллионов франков, что представляло собой от 25 до 30 франков прибыли на каждую акцию, и это с учетом ситуации дефицита, в которой находилась «Ле Никель».

На деле ситуация с производством никеля в мире в течение последнего десятилетия кардинально изменилась, хотя этого никто не предвидел. Для нас, французских производителей, понижение курса доллара, которым был отмечен период с 1970 по 1980 год, стало одной из основных причин наших потерь в этой отрасли.

Итак, ИМЕТАЛ пережил периоды процветания и периоды неудач, что вообще свойственно циклически действующей сырьевой промышленности, а «Никель», который мы раньше считали перлом в нашей короне, оказался тяжким грузом. В 1979 году, когда я отошел от дел, ни акционеры, ни мы сами так и не дождались подъема курса акций и тех результатов, на которые мы надеялись и которые оправдали бы наши усилия и наши удачи, из которых самой крупной была покупка «Коппервельд», чья

стоимость удвоилась за шесть лет.

Эта деятельность, с которой я был тесно связан вплоть до моего ухода с поста президента, внушает мне особую гордость. Все было задумано, спланировано и осуществлено под нашим руководством, за пределами самого банка, и составляло особую сферу наших действий, как по сути своей, так и по тому, что мне пришлось сотрудничать с людьми совершенно иного типа. Несмотря на спады и подъемы, неизбежные в производстве и в торговле нежелезистыми металлами, я рад, что смог сделать это для нашего банка. «Компани дю Нор» со своими 20 % акций оставалась в этой транснациональной корпорации горнодобывающей группой и самым крупным акционером, намного превосходя всех остальных.

«Прощай, Ротшильд!»

...21 мая 1981 года, в день моего рождения, Франсуа Миттеран стал хозяином Елисейского дворца.

Во время предвыборной кампании я старался не думать о национализации банков. Да, эта мера фигурировала в общей программе 1978 года, но разрыв альянса социалистов и коммунистов, как и его сокрушительное поражение на выборах, казалось, должно было повлечь за собой и крушение всех мер марксистского толка, содержавшихся в этой программе. И действительно, президентская кампания Миттерана 1981 года проходила под знаком умеренности, которую хорошо иллюстрировал слоган «спокойная сила». И признаюсь, для меня было сюрпризом услышать, как в теледебатах с Жискар д Эстеном Миттеран заявил, что он рассчитывает национализировать все банки. Мне казалось совершенно очевидным, что даже в экономике близкой к социалистической никто не стал бы пытаться вывести банковскую индустрию из сферы конкуренции, никто бы не взял на себя риск уподобить ее администрации А. или же администрации Б. Теперь я понял, что заблуждался. Известно, что, уж если тебя выбрали, ты сдержишь обещание, данное публично перед телекамерой.

Непосвященный читатель, возможно, удивится, когда узнает, что во Франции государственный банковский сектор (включающий три национализированных банка: Креди агриколь, Банк де Франс, Кэсс де депо; Казначейство, банки взаимопомощи) собирал уже 86,5 % вкладов и распределял более 80 % кредитов!

Частный сектор, существование и выживание которого было невыносимо Франсуа Миттерану, имел лишь 13,5 % вкладов и 20 % кредитов. На самом деле, много меньше, если вспомнить о банках, контролируемых иностранцами, которые социалисты, к счастью, не посмели тронуть и которые представляют приблизительно четверть этих процентов и имеют второстепенное значение. Но это еще не все: Министерство финансов и «Банк де Франс» ввели целый ряд мер, например, установление верхнего предела разрешенных кредитов или стимулов, позволяющих предоставлять привилегии избранным секторам экономики, - в результате вся французская банковская политика оказалась зажатой в узкие рамки и направлялась правительством. Во Франции не существовало другой сферы деятельности, которая бы контролировалась государством так жестко, как банковское дело. Зачем же было проводить национализацию, столь же показную, сколько бесполезную и дорогостоящую, учитывая,

кстати, что с подобными мерами уже давно расстались социалистические партии других индустриально развитых стран?

В действительности, сомнений быть не может: банки, в представлении социалистов, - это храм денег, ненавистный символ капитализма. Присвоить себе банки - это не требует объяснений, это акт веры. Он позволяет ломать форму экономического и социального общества, основанного на уважении собственности и свободы предпринимательства.

* * *

В декабре 1977 года господин Миттеран и его друзья, тогда находившиеся в меньшинстве, уже внесли в парламент законопроект, изложение необходимости которого начинали словами, «Чтобы сломить господство крупного капитала. надо осуществить переход к коллективному управлению. финансовыми инструментами, в настоящее время находящимися в руках капиталистических кругов, осуществляющих господство».

Та ничтожно малая доля, какую составляли французские частные банки во всем механизме финансовой жизни нашей страны, опровергала такие слоганы, как «крупный капитал» или «капиталистическое господство»; при этом даже не было необходимости ссылаться на хорошо известное качество управления банковскими учреждениями, которые оказались под ударом.

Чтобы оправдать свою политику, руководители режима много раз прибегают к формулам, подчас просто ошеломляющим; отрывки из них я привожу ниже:

«Придушенные финансовыми магнатами, они [предприятия] окостеневают по их, этих магнатов, воле. Мы собираемся их освободить» (Береговуа).

«Положить конец «бюрократизации» и «огосударствлению» предприятий. »

«Позволить малым и средним предприятиям развиваться, а, следовательно, перестать служить мясом пирога крупного капитала». (С трудом верится, что это высказывание Франсуа Миттерана, который, впрочем, мало интересуется индустрией, потому что банки - это то, что индустрии необходимо.) «Блюм оказался погребенным под денежным валом, я отомщу за него», - часто говорил Миттеран.

Энциклопедических масштабов невежество левых в области экономики, их капитуляция перед устаревшей идеологией - это постоянная составляющая политической жизни Франции. Бесспорно, общество нуждается в благородных идеях и возвышенных призывах. Однако, к несчастью, нельзя пробудить к жизни социальную справедливость и прогресс, ни живя по морали

почитаемой за библию литературы XIX века, ни - еще меньше - открывая дверь проникновению коммунистической идеологии на всех уровнях общественной и экономической жизни. Среди левых немало достойных людей, и удивительно, что они не пытаются вырваться из порочного круга, который в конечном счете делает их тормозом экономического прогресса и роста уровня жизни, делает их противниками системы управления, которая, несмотря на все свои недостатки, производит неплохое впечатление на фоне правящих режимов других стран, сопоставимых с нашей. У левых вместо идей - идеология, правые более прагматичны, по крайней мере, они иногда оказывают стране какие-то услуги. А если говорить об откровенных реакционерах, то они уже давно не играют существенной роли в политической жизни.

Что же касается национализации предприятий промышленного сектора экономики, то ничто не подтверждает ее действенности. Успех национализации заводов Рено следует внимательно проанализировать, чтобы увидеть ее пределы и последствия; Рено не может служить аргументом в пользу подчинения тяжелой индустрии политическому руководству страны. Власти всегда будут стараться использовать национализированные предприятия для решения собственных задач в ущерб интересам самих этих предприятий. Нет никаких оснований считать, что у министров и чиновников более правильный взгляд на вещи или они обладают более высокой квалификацией, чем руководители предприятий, которых они поувольняли.

Вернемся к банкам. Государство использует свою монополию, чтобы на неопределенный срок навязать населению услуги, требующие больших расходов, стараясь установить равновесие сил в обществе. Хорошо еще, если оно с помощью демагогической политики не обяжет банки делать дорогие займы и производить безвозмездные выплаты, создавая таким образом дефицит за счет налогоплательщика. Во всяком случае, придется идти на все более тесную дружбу с властями, если имеешь дело со строптивым и несговорчивым банкиром.

Французские социалисты хотят прибрать всю власть к рукам; они ревниво относятся даже к тем ничтожным крохам, которые удалось сохранить руководителям больших частных предприятий. Они терпят лишь малые или средние объединения, тем самым оставляя себе возможность говорить о «частичных мерах». Быть может, такая тенденция распространится на Востоке, но и это еще отнюдь не факт. Марксизм с каждым днем все более ясно показывает, к каким экономическим и моральным потрясениям он приводит народы, и явно возникнет необходимость выбирать

между социализмом без диктатуры и либеральным строем или еще чем-то, что еще придется изобрести. Выбор не сделан, но История слишком явственно доказала, что часто человечество идет в направлении, противоположном тому, которое для него избрано свыше.

* * *

Первое время мне трудно было справиться с удивлением, чтобы потом все осмыслить и должным образом реагировать на то разорение, которое принесла моей семье национализация.

Я не поддался депрессии, *я* предпочел гнев - как реакцию более позитивную. Мне казалось немыслимым, чтобы эта гигантская экспроприация ряда крупных банков, порой анонимных, привела одновременно к исчезновению банка Ротшильдов, само понятие которого стало одновременно историческим и мифическим, и чтобы никто этого не заметил.

Мобилизовав все свои способности, я написал статью, озаглавленную «Прощай, Ротшильд», она была опубликована на первой странице «Монд», и реакция на нее превзошла все мои ожидания. Я получил сотни доказательств симпатии и сочувствия, большинство обратившихся ко мне хотели меня ободрить и заканчивали свои письма словами: «Не прощай, но до свидания, Ротшильд». Многие говорили: «До скорого свидания, Ротшильд» или еще «Спасибо, Ротшильд». Все хотели, чтобы в этой ситуации я действовал «мужественно и с достоинством».

Итак, вот моя статья:

«Прощай, Ротшильд!

Семья, само имя которой ассоциируется с банковскими учреждениями, строго капиталистического характера, могла лишь наблюдать за тем, как постепенно ограничивается сфера ее деятельности на всех этапах социализации, с которой столкнулось французское общество в нашем двадцатом веке. Ротшильдов не обошли ни на одном из этих этапов: в 1936 году Народный фронт отнял у них управление Северной железной дорогой, которое они осуществляли с 1857 года; тот же Народный фронт сместил моего отца с поста управляющего «Банк де Франс», который он занимал в течение двадцати лет.

После освобождения Франции от немцев де Голль национализировал все доли Ротшильдов в производстве и распределении электроэнергии и в сфере страхования. Наконец, в 1981 году коалиция социалистов и коммунистов издала декрет о национализации банков, разом изгнав наш банк из дома на улице Лаффит, где он находился на протяжении ста шестидесяти лет, на улице Лаффит, название которой стало синонимом самих Ротшильдов. По той же причине Ротшильды потеряли контроль

над другими предприятиями, традиционно находившимися в их управлении, такими как группа горнодобывающих предприятий «Пенарроя», «Никель», и общества, унаследовавшие частные владения от старых железнодорожных компаний.

Время сеет жертвы на своем пути, об этом можно сожалеть, но этому нельзя так уж удивляться. Если бы речь шла только об этом, нам бы оставалось только залечивать раны в кругу семьи и безропотно переживать наши горести и печали. Я говорю о всех тех, кто вместе с автором этих строк участвовал в воскрешении учреждения, с 1914 года влачившего жалкое существование, и в превращении его в банк и в деловую группу, достойную современной французской экономики; мы создали таким образом тысячу двести рабочих мест, и все, кто их занимал, сейчас мучительно следят за тем, как уничтожается плод их упорной работы на протяжении сорока лет. Но речь идет не только об этом, речь также идет об отношениях Ротшильдов с экономическими властями, для которых они, по меньшей мере, неудобные персоны, если не воплощение самой сущности зла.

Ротшильды имеют образ очень своеобразный и одновременно очень типичный. Они стали общеизвестным, почти пословичным символом богатства. Богатства, которое без ложного стыда проявляется в их стиле жизни. Кроме того, череда поколений, стоящая за всеми их делами, сообщает им особый смысл преемственности, династийности, едва не фантасмагоричной. За ними признают некоторую компетентность в делах, добросовестность, но отождествляют эти качества с гипертрофией капиталистического индивидуализма и считают это непреложным фактом. Ротшильдов считают единственными капиталистами во Франции. В других обществах взгляд на вещи совершенно иной: в Америке к тем, кому на протяжении длительного времени сопутствует успех, относятся с уважением; в Англии их профессиональная квалификация, их популярность получают признание и поддержку как элемент финансового благополучия страны.

Большинство французов смотрят на нас с симпатией, бесспорно чувствуя несправедливость того давления и тех отречений, которые навязали Ротшильдам не «для того, чтобы воздать им по заслугам», а для того, чтобы не унизить идею, что тем самым они выполняют свой моральный долг и несут ответственность перед гражданами Франции. Некоторые помнят и ценят многочисленные больницы, школы, дома ребенка, санатории для выздоравливающих и для пенсионеров, диспансеры и другие самые разные социальные учреждения, которые наша семья построила, снабдила оборудованием и

поддерживала материально; множество произведений искусства, подаренных музеям; множество художников, артистов, ученых, врачей, писателей, которым мы смогли помочь в трудные моменты их жизни.

Но как бы там ни было, политические круги, побуждаемые завистью к деньгам, завистью, столь характерной для нашей страны, относятся к Ротшильдам как к париям. Многие политики стараются избегать встреч с ними, придумывая себе различные алиби. «Ротшильд, вы понимаете, это не пройдет незамеченным!» Даже если их и считают милыми людьми, их обходят стороной как зачумленных.

Я сослужу себе дурную службу, если назову здесь имена тех министров, которые принимали меня, как управляющего банка, не оглядываясь на остальных, и рассматривали мои проблемы исходя исключительно из их сути. Если бы они знали, как *я* им за это благодарен! И с каким волнением я прочитал исполненные благородства заявления, сделанные несколько дней назад в парламенте двумя депутатами.

А вот несколько весьма поучительных примеров иного толка.

В Лондоне в 1944 году, когда я, будучи членом «Свободной Франции», заканчивал обучение офицеров связи, мне предложили заняться делом, которое меня очень заинтересовало. Но назначение так и не состоялось, а через несколько недель я узнал, что мое слишком заметное имя отклонили.

Десять лет спустя я пришел в кабинет одного министра-социалиста, известного члена нынешнего правительства, чтобы согласовать небольшую проблему, касающуюся проекта Миферма. Прежде чем начать разговор, мне пришлось выслушать вступительное слово, из которого следовало, что как представитель крупного капитала я не был бы принят в министерстве, если бы не мои военные награды, которые очистили меня от первородного изъяна. Мне не хватило присутствия духа, чтобы повернуться и уйти.

Позднее этот же политик упрекал Жоржа Помпиду в том, что тот сотрудничал с семьей, которая сделала состояние на несчастьях Франции. Никто не знал, что он такой бонапартист.

Одним из достижений в своей карьере, которым можно гордиться, я считаю создание горнодобывающего и металлургического объединения, имеющего широкие международные связи; было образовано общество ИМЕТАЛ, отмеченное именем Ротшильда; оно успешно работало в самых разных обстоятельствах и приносило прибыль. Подобная ситуация никогда не была по вкусу официальному руководству промышленностью страны; некоторые лица из этих структур

доходили до того, что специально создавали трудности для отдельных секторов объединения, чтобы вывести из строя и захватить все предприятие.

Недавно в дискуссии о национализации банков один министр заявил, что Ротшильды - это особый случай, что они - символ.

В обычное время скрытые и замаскированные, эти враждебность к Ротшильдам и страх вырывались на поверхность и становились откровенными в период кризисов. Особенно проявилось такое отношение к Ротшильдам с 1936 года, в период деятельности Народного фронта.

В 1940 году, через три недели после объявления перемирия, правительство Виши издало декрет, согласно которому мой отец и мои дяди Робер и Анри лишались французского гражданства, у них отнимали орден Почетного легиона, их состояния конфисковывали. Их преступление состояло в том, что они бежали в Америку перед вторжением немцев, вместо того чтобы добровольно отправиться в печи крематориев. Прежде чем присоединиться к «Свободной Франции», я пережил секвестр банка, захват и рассеяние активов моей семьи. Ответственный за эти действия министр Алибер, говоря о постановлении, на основании которого это делалось, и его выполнении, заявил: «Мне было особенно приятно поприжать Ротшильдов».

Понятно, что национализация банков не была направлена специально против Ротшильдов. В нас не целились, но в нас попали, как если бы это был несчастный случай на охоте, произошедший по вине людей, которым французы так легкомысленно на время доверили ружья.

Тем, кто думает: «но вам досталось по справедливости», *я* вправе ответить так: «Деньги - это еще не все. Мы никогда не продавались».

Французские Ротшильды ошибочно считали, что они могут меняться и развиваться в своей стране вместе со своим временем - зло оказалось сильнее их.

Прокуроры-социалисты исключили их из экономической жизни страны. От Дома Ротшильда остались одни лишь жалкие крохи, а возможно, и вообще ничего.

При Петэне я был евреем, при Миттеране - парией; с меня достаточно. Дважды за одну жизнь все возрождать из руин - это уже слишком.

Вынужденно отстраненный от дел, я считаю себя забастовщиком.

Ги де Ротшильд».

* * *

Эта статья была перепечатана и широко комментировалась

международной прессой, меня осаждали просьбами об интервью по телевидению и радио, в газетах и периодических изданиях Европы и Америки. Совершенно очевидно, что моя статья появилась в нужный момент и реакция на нее явно превосходила интерес, который могла бы вызвать не только моя собственная персона, но и вся моя семья. Впрочем, такая реакция показала, что наше имя по-прежнему известно и что эта известность основана не только на историческом прошлом моей семьи, которое лишь усиливает значимость ее деятельности в наши дни. В своих публичных выступлениях я был, как говорится, «раскован», выполнял свой долг, как я его понимал, и чувствовал благожелательную теплоту и стихийную поддержку. Однако предстояло жить, как того требовал ход событий. Все, что я построил за всю свою жизнь сам или в сотрудничестве с кем-то, - обновленный и расширивший свою деятельность банк, французская межгосударственная корпорация ИМЕТАЛ. - все было конфисковано, все созданное мной уничтожено, тридцать пять лет я работал впустую. К концу 1980 года моя семья контролировала группу предприятий, банковские структуры которой, включая филиалы, располагали активами в тринадцать миллиардов франков, имели две тысячи служащих и семьдесят тысяч клиентов.

Промышленный и коммерческий сектор вместе с его филиалами и более мелкими подразделениями давал по всему миру более тридцати тысяч рабочих мест, имел 1,4 миллиарда собственного капитала и по всему миру вел счета на сумму двадцать шесть миллиардов. Все это солидное здание было экспроприировано и в качестве возмещения предлагалась сумма, составляющая 80 %. стоимости одного дома на улице Лаффит!

Проходили недели. Нам - французской ветви семьи Ротшильдов - надо было обдумать, как мы будем жить дальше и что будем делать. Может быть, нужно просто делать только самое необходимое для физического выживания после случившегося крушения всего нашего благосостояния? Ни Мари-Элен, ни я не имели ни малейшего желания жить где-либо в другой стране, кроме Франции, но разве я смогу забыть, что дважды в моей жизни Франция обращалась с Ротшильдами так, словно они были воплощением чего-то, что нужно ослабить или уничтожить? Я долго думал, и наша ситуация стала все яснее вырисовываться в исторической перспективе. Репутация и престиж Ротшильдов, основанные на заслуженном доверии к нашим банкам, на их надежности, по- прежнему остаются несравненным козырем, но насколько же бессильным оказался этот козырь. Если банки понесут ущерб или вообще перестанут существовать, мы

превращаемся в ничто. Так уж повелось во Франции - каковы бы ни были причины, мы в настоящий момент здесь побежденные. С тех пор как наше имя стало синонимом крушения, оно вызывает скорее чувство неловкости, нежели ностальгические воспоминания.

Итак, следовало преодолеть растерянность и уныние и найти пусть вынужденное, но приемлемое решение. И такое решение было найдено - мы принимаем вызов судьбы и активно участвуем в развитии банка Ротшильдов в Нью-Йорке, для того чтобы это учреждение морально и материально поддержало французскую ветвь семьи и нашего компаньона - английских Ротшильдов. Если представится возможность, конечно, было бы желательно основать во Франции маленький банк Ротшильдов.

Давид предполагает стать его директором. Я горячо желаю ему успеха и желаю, чтобы ему всегда улыбалась фортуна.

Но только в Соединенных Штатах мы сможем вновь обрести необходимое признание во всем мире. Мой инстинкт борца победил все колебания, и я решил один ехать в Нью-Йорк и работать там, если это понадобится, долгие годы.

Недавно один представитель «нового режима», человек умеренных взглядов и дружелюбный, выступил с критикой моей эмиграции. Я как будто внезапно перенесся на сорок лет назад, в эпоху пустых дискуссий об этичности отъездов из страны. Однако сейчас нет войны и патриотизм больше не рассматривается так узко; граждане Франции, живущие за рубежом, не считаются ни бесполезным балластом, ни плохими французами. Понятно, что среди левых, возможно, и есть люди, которые сожалеют о некоторых последствиях содеянного с моей семьей. Но они не возместят нам ущерба, тем самым способствуя тому, чтобы мы стали всего лишь жалкими провинциалами в Париже, обреченными занимать положение гораздо более низкое, чем наши коллеги из других стран. Скорее к области сентиментального *я* могу отнести то обстоятельство, что более всего я переживал потерю улицы Лаффит и всего, что значил для меня «Дом». Целью правительства, конечно же, не было лишить нас нашей недвижимости, нашего здания - банк составлял с этим зданием единое целое, мы потеряли и то, и другое одновременно. Это здание мы строили и украшали с энтузиазмом, оно олицетворяло для нас продолжение прошлого; оно не упраздняло прошлое, оно принимало у него эстафету. Оно было его перевоплощением, а не заменой.

И снова старая улица Лаффит встает перед моими глазами: консьерж в доме 19, который весь год ходил в смешной помятой шапчонке, а зимой надевал широкий плащ; дверь под козырьком,

которую нужно было открывать за кольцо, потому что ручка поворачивалась вхолостую, чтобы ввести в заблуждение воров (как изобретательно!); узкая лестница, что вела в «большое бюро» и находилась рядом со старым лифтом, который, сколько я себя помню, никогда не работал, его назначение всегда оставалось для меня загадкой. И еще мне приходят на память эти обычаи былых времен: корреспонденция могла быть вскрыта только нашим компаньоном, ее приносили моему отцу на улицу Сан-Флорантен, перед тем как вернуть, чтобы отправить упакованную в красный кожаный мешочек. У Ротшильдов было принято, чтобы каждый документ, независимо от его характера и назначения, подписывался одним из них даже во время отпусков.

Мы сохранили от прошлого гораздо больше, чем это на первый взгляд может показаться. Спокойная атмосфера, услужливые и любезные швейцары во фраках. Нет какого-то особого церемониала, но нет и той небрежности и неорганизованности, какая часто царит в общественных учреждениях. Улица Лаффит всегда содержалась в чистоте и порядке, никаких бумажек, цветы и зеленые растения повсюду - все свидетельствовало о том, что здесь заботятся о красоте и эстетике.

К этому нужно добавить, что многочисленный аппарат служащих делал легкой и приятной жизнь столь привилегированных персон, какими мы были. Опытные секретари занимались организацией жизни, соответствующие компетентные службы позволяли нам сразу получать советы по вопросам финансовым и юридическим, а также по вопросам налогообложения. Банк был нашим нотариусом, нашим адвокатом, нашим советником, нашим поверенным и нашим секретарем. Многие из наших клиентов пользовались теми же услугами, что и мы сами; они выражали нам свою преданность.

Каждое предприятие, большое оно или малое, высвобождается от независимой личности тех, кто вдохнул в него жизнь. Оно само становится живым организмом, с жизнью, такому организму свойственной: оно процветает, огорчается, переживает трудности, растет, попадает в опасность. Этот организм требует больших забот, и его успехи служат наградой работающим на него и руководящим этой работой. В обмен на жертвы он дарит чувство защищенности; преданность его целям прогоняет тревогу и оберегает от скуки. Этот организм готовит «любовный напиток», который проникает в кровь, привораживает, связывает, и когда нужно этот организм покинуть, отравленный, не зная еще о тех муках освобождения от «яда», которые предстоит терпеть, оказывается один, никому не нужный, ни на

что не пригодный, ничем не занятый.

* * *

В двух шагах от нашего банка на улице Виктуар находится большая синагога, случайно ли это? Сколько раз в детстве и позднее мы приходили на улицу Лаффит за нашими отцами и вместе с ними отправлялись в синагогу; прошли годы, и к нам присоединились наши сыновья. Сколько учреждений обращались на улицу Лаффит за помощью несчастным и преследуемым евреям!

Сколько социальных и культурных организаций было создано после того, как решение об их создании принималось на улице Лаффит! Здесь же они совершенствовались, изменялись, поддерживались, развивались, управлялись, финансировались в результате бесед в темных коридорах или тихих кабинетах старого особняка или нового «здания» - постоянного места на протяжении ста семидесяти лет, важной части жизни французских евреев. В своем завещании мой дедушка Альфонс де Ротшильд объявлял детям свою последнюю волю: «. Я настоятельно прошу всех моих детей и других членов семьи продолжать, насколько это возможно, в дни больших религиозных праздников собираться всем вместе в залах нашего особняка на улице Лаффит, 19, освященных для этого благого дела очагом моих родителей, собираться, чтобы всем вместе отметить праздник и в общности чувств сохранить единство семьи. Это единство во все времена было нашей силой и нашим величием.»

После того как в 1968 году изменились направленность и масштабы деятельности банка, стало невозможно поддерживать традицию вручения персоналу «новогодних конвертов» самими компаньонами во время торжественной церемонии. Эту церемонию заменил большой коктейль, устраиваемый на более чем тысячу персон. Последний такой коктейль Ротшильды устраивали в 1981 году за несколько недель до вступления в силу закона о национализации. Как и каждый год, я на нем присутствовал, но на этот раз мое сердце сжималось, когда я прощался со всеми этими мужчинами и женщинами, занимающими у нас разные должности; одних я едва знал, с другими был хорошо знаком - но со всеми меня связывали глубокие чувства. Это было братство людей, слившихся с моей семьей воедино, участвовавших с ней в одном общем деле под одним именем, живших с ней одними заботами, решавших одну общую с ней задачу. Мы все хотели продолжать жить вместе; наше вынужденное расставание причиняло нам глубокие страдания.

Я пожимал сотни рук людей, едва сдерживавших слезы; для

них, как, впрочем, и для меня, это был конец света. И в этом моем страдании, в этой боли я почувствовал, насколько я привязан к этим людям; мы все составляли единое целое, и в этом была наша сила и наша гордость. Я покидал зал по привычке с поднятой головой, но с тяжелым сердцем.

Никто из нас не думал о собственном горе. Мой кузен Ален умер через несколько месяцев. Слишком тяжелым для него оказался тот год: и разрыв с нашим прошлым, и заботы руководителя еврейской общины.

Навсегда покинуть улицу Лаффит - для Ротшильдов это было насилие, что-то совершенно немыслимое и чуждое; разрывалась пуповина, связывавшая их с родной плацентой.

Дела семейные

В один из осенних дней 1935 года я вернулся домой довольно поздно и увидел на подушке записку, оставленную моей матерью: «Страшная трагедия. Муж нашей милой Алике погиб в аварии на железной дороге.»

Алике Шей де Коромля происходила из старинного венгерского рода, который, в результате подписания договоров в Сен-Жермен-ан-Ле и Трианонского, обрел чешское гражданство и оказался в пределах этой новорожденной страны, которая появилась на свет после раздела Австро-Венгерской империи. Ее мать была урожденная Гольдсмит-Ротшильд, стало быть, Алике по материнской линии приходилась нам родственницей. Она вышла замуж за немецкого бизнесмена, и они жили в Дрездене вместе с их дочерью Лили, которой исполнилось пять или шесть лет, когда ее мать овдовела.

Я был с ней едва знаком, лишь однажды мы встречались на обеде у моих родителей. Но я дружил с ее сестрой Минкой - красивой молодой женщиной, которая с начала тридцатых годов жила в Париже со своим мужем Карлом-Гансом Штраусом; здесь они прекрасно адаптировались, влились в парижскую жизнь, добавляя в нее флер венской элегантности.

Антисемитская политика Гитлера принесла горести и тревоги Алике - этой несчастной молодой женщине. Ее сестра и друзья убедили ее уехать из страны, где ее могли преследовать и где она осталась одна. Чтобы получить разрешение на выезд из страны, Алике пришлось бросить все свое состояние.

Когда мы снова встретились, ей было двадцать шесть лет. В траурном платье, с распущенными черными волосами, в которых уже серебрилось несколько седых прядей. Было что-то мимолетное, ускользающее в этой гибкой, как лиана, и хрупкой, как тростник, женщине; что-то подчеркивающее романтический склад ее души и естественный шарм; в ней сочетались непринужденность и утонченность манер, живость и ум.

Мне вскоре должно было исполниться двадцать восемь лет, но я все еще безуспешно искал возможность соединить чувственность и чувство. И, как я уже говорил, я нашел единственное для себя решение - женитьба; во власти таких «марьяжных» фантазий я тогда находился. И вот эти фантазии обрели реальный образ очаровательной молодой женщины, переживающей тяжелую утрату, тоскующей. Никаких преград, воздвигаемых религией, не стояло на пути рождающейся между нами симпатии, к тому же я знал, что Алике нравится моим

родителям; об этом, хотя и не откровенно, говорила записка моей матери. Словом, все складывалось идеально. Горести и несправедливости, обрушившиеся на бедную красавицу, разбудили во мне рыцаря, готового ее защитить.

Следующим летом мы были помолвлены в имении родителей Алике, в окрестностях Братиславы, приблизительно в двух часах езды от Вены.

В имении Ковечес - так оно называлось - все дышало очарованием, тем особым очарованием, которое рождается от соединения простоты, прихотливого стиля и деревенской безыскусственности. Большой деревянный дом, совсем не похожий на классическое шале, но скорее чем-то напоминающий одновременно и русский дом, словно сошедший со страниц пьес Чехова, и дом с берегов Миссисипи времен войны Севера и Юга; словом, что-то между «Вишневым садом» и «Унесенными ветром». Просторные луга, густой лес, где водятся косули, ленивая река с берегами, поросшими ивняком, сколько хватает глаз - поля кукурузы, где из-под ног вылетают стайки куропаток.

С особым волнением *я* вспоминаю друзей и всех венгерских родственников Алике, сестру ее отца с мужем - существом субтильным и тщедушным - оба они скоро погибнут в депортации; молодых людей и очаровательных славянского типа девушек, которых я отыскал после войны - ввергнутым в нищету советской оккупацией, им удалось наладить свою жизнь уже во Франции. Я горько переживал разрушение и последовавший после войны раздел Ковечеса не только из-за красоты и очарования этих мест, но еще и потому, что здесь остались счастливые детские воспоминания Алике.

Мы поженились 30 декабря 1937 года. Во время гражданской церемонии в мэрии I округа чуть не случился казус. Речь мэра изобиловала перлами, которые я едва успел устранить. «Мадам, для вас наступает прекрасная минута!» - хотел он сказать Алике. Но даже подыскивая приветливое слово для каждого из родственников Алике, съехавшихся из столь дальних мест, он запутался в географии и адресовал венграм приветствия, приготовленные чехам, и наоборот. К счастью, я прочитал текст этой речи до того, как мэр ее произнес; если бы мне не удалось это сделать, все эти родственники один за другим покинули бы церемонию.

Религиозная церемония бракосочетания состоялась в Феррьере. Хупа - балдахин, под которым проходит церемония еврейской свадьбы, - была усыпана розовыми гвоздиками и натянута в большом белом салоне. Когда мы с Алике приближались к этому месту, мой новый родственник, Гриша

Пятигорский, муж моей сестры, - они поженились в том же году, что и мы, - одетый, как того требовал церемониал, извлекал из своей виолончели столь веселые мелодии, что хотелось плакать.

После этой «скромной церемонии в замке» состоялся обед в узком кругу самых близких родственников и друзей. Никаких причин политического характера за этим не стояло, но я женился на вдове, и традиционные взгляды того времени требовали соблюдать определенную сдержанность.

Мы получили множество поздравлений и среди них была телеграмма от Франка Голдсмита, отца Джимми, дедушки Клио! Франк писал: «Браво! Это самое умное, что ты когда-либо сделал». Мой отец насмешливо ее переиначил: «единственно умное.»

Алике соединяла в себе самые противоположные черты. Она обладала живым умом и в то же время ухитрялась погрязнуть в доставшихся ей в наследство из прошлого административных проблемах, которые ей хотелось непременно уладить, и в результате она металась между пишущей машинкой и не уменьшавшейся горой бумаг. Она любила читать, любила искусство. Ее страстью, ее «скрипкой Энгра» была геология, и, отправляясь в путешествие, она всегда брала с собой маленький молоточек; им она пользовалась, чтобы осмотреть все новые камни, которые ей попадались.

Ее неотступно преследовала тревога за родственников и друзей, оставшихся в Германии, и она без устали старалась помочь им эмигрировать и устроиться во Франции.

После войны ее заинтересовала общественная жизнь, и она возглавила организацию «Алия молодых» (организация помощи молодежи, эмигрирующей в Израиль); она по-прежнему увлекалась искусством и активно участвовала в открытии Музея Человека. Всю жизнь она помогала писателям, музыкантам, художникам; она старалась оказывать содействие нуждающимся людям искусства, поощрять и помогать пробиться «непризнанным гениям». Ее хорошо знали, и всегда ее окружали почитатели, ею восхищавшиеся, ее преданные друзья, впрочем не только - в ее окружении подвизались также самые случайные люди, которые без зазрения совести приставали к ней, рассчитывая воспользоваться ее великодушием и добротой.

В 1953 году ее избрали мэром деревни Рё - маленькой коммуны, граничащей с Понт-Левэком, где находилось имение, принадлежащее нашей семье, которое мы получили в подарок после свадьбы. Тридцать последних лет своей жизни, начиная с этого времени, Алике посвятила этому уголку Нормандии, который она обожала и который стал для нее родным. (Она

принимала участие в деятельности различных региональных культурных комиссий, реализуя, таким образом, свой интерес к искусству.)

Алике скончалась весной 1982 года, до самого конца она старалась мужественно противостоять болезни.

* * *

Со своей второй женой Мари-Элен, для которой я расстался с Алике, я встретился на бегах. Был вечер, вечер-гала, столь типичный для разгара сезона в Довиле. Правда, в этом было и нечто новое: вечер-гала на скачках знаменовал для меня вхождение под фанфары в особый, совершенно отдельный мир.

Конюшня Ротшильдов, бразды правления которой я взял в свои руки после смерти отца начинала понемногу процветать.

Да, это был просто вечер, так похожий на другие. Кто бы мог подумать, что эта ночь перевернет всю мою жизнь? Я нырнул во вращающуюся дверь казино в прекрасном расположении духа.

Как и сегодня, наверху, при входе в залу, гостей встречали ученики жокеев, одетые в форменные казакины известных конюшен или же в жокейские куртки входящих в моду коннозаводчиков. Они провожали в залу пары - мужчин в смокингах и женщин, одетых в самые роскошные вечерние платья и блиставших изысканными украшениями.

Зала Амбассадор была полна народу. Все, кого собрал Довиль в разгар сезона скачек, от владельцев самых крупных конюшен до анонимных завсегдатаев ипподромов, были здесь, на этом престижном рандеву, сборы от которого обычно поступали в пользу Ассоциации жокеев.

Победители - тренеры, коневоды и владельцы конюшен - уже успели получить различные призы. Но еще не был вручен основной приз - «Золотой хлыст», вручавшийся обычно жокею, выигравшему наибольшее количество скачек за сезон. Замечу, что ни один, даже самый талантливый, фильм не даст никогда возможности пережить все захватывающие моменты национальных и международных скачек сезона.

«Гвоздем» вечера были выступление Эдит Пиаф, оставившее в моей душе одно из самых глубоких впечатлений, когда-либо производимых на меня эстрадным пением, и тираж вещевой лотереи в самом конце ужина. Те, кому посчастливилось выиграть, выходили на сцену и получали свой вещевой лот: кто машину, кто часы, кто драгоценность, а кто и два ящика Шато-Лафит - мой вклад в благотворительный вечер.

Именно этот лот выиграла молодая пара, которую *я* немножко знал, вернее, два или три раза встречал на скачках в Лоншане или в Шантийи. Я запомнил эту светловолосую

женщину, чей облик и манеры меня поразили. Она приковывала мой взгляд.

В конце вечера, когда все призы и лоты были розданы, я решил, что следовало бы поздравить - вполне невинно? - ту самую молодую светловолосую женщину, которая только что получила свой Лафит. «Наконец-то! Давно пора!» - бросила мне она, как только я начал произносить слова поздравления.

Явная агрессивность ее тона и холодный взгляд, которым она смерила меня, не оставляли никакого сомнения в том, что она не разделяет моих чувств к ней. Я был весьма удивлен и обескуражен. Что же могло произойти?

Провидение, а может быть, просто общие знакомые стали причиной того, что вечер мы все закончили в Брюммеле - ночном кабаре при казино. Светловолосая незнакомка приняла мое приглашение к танцу. Мы танцевали и говорили, и мне кажется, я растопил тогда ее сердце.

Графиня Николе знала толк в лошадях: ее муж с четырьмя братьями держали конный завод в Сарте. Что же касалось ее недовольства мной, то все весьма просто разъяснилось. Я показался ей весьма невоспитанным человеком, так как позволил себе разглядывать ее, не будучи с ней знакомым. Брошенные мне слова - «давно пора» - означали, что прежде мне следовало бы представиться, а уже потом начинать выражать ей свои восторги, вербально или невербально.

Меня поразила ее манера общения, она без всяких обиняков называла вещи своими именами, решительно, без каких-либо фиоритур. После нескольких минут общения я уже достаточно ясно представлял себе, каким последним дураком я выглядел в ее глазах. Надеюсь, что мне все-таки удалось достаточно быстро сгладить плохое впечатление, которое я произвел на нее, ибо в последнее воскресенье августа, после скачек на Большой Приз Довиля, мы снова оказались с ней в Брюммеле. Мы танцевали. Я не помню, смотрел ли я на нее или нет. Я танцевал с ней и слушал ту музыку, которая зазвучала в ту ночь во мне и захватила меня. Я узнал, что она собирается провести сентябрь в Голландии.

И этот сентябрь стал самым длинным месяцем в моей жизни.

* * *

Я воспользовался этой вынужденной паузой в нашем общении, чтобы узнать о ней больше. Она была дочерью барона и баронессы де Зюйлен де Ниевельт, пары, которую я часто встречал на разных парижских вечерах. Эта пара для меня ассоциировалась с одной старой семейной историей, с историей, которой было уже почти сто лет. Семья Зюйленов и моя семья

были в дальнем родстве, и это родство ассоциировалось в моей памяти с привкусом скандала, какого-то старого конфликта, который подспудно тянулся, как хвост, за нашей семьей и который мы, младшее поколение, представляли себе весьма смутно. Мы знали лишь, что что-то неприятное когда-то давно произошло между Зюйленами и Ротшильдами, и больше мы не знали ничего.

Вскоре мне удалось распутать ветви генеалогических связей и установить степень нашего родства с Мари-Элен, светловолосой графиней Николе, урожденной де Зюйлен.

Дед Мари-Элен, Этьен де Зюйлен, женился на юной мадемуазель Элен де Ротшильд, дочери Соломона де Ротшильда, младшего брата моего деда. Это стало драмой для обеих семей. У Ротшильдов не были приняты браки с католиками («На восемнадцать браков, заключенных внуками основателя банкирского дома Ротшильдов Мейера Ротшильда, шестнадцать были заключены между кузенами и кузинами». *Anka Muhlstein.* James de Rothschild. Gallimard, 1981). На самом деле, одна из племянниц Джеймса вышла замуж за англичанина, что повергло старого патриарха в страшный гнев. Он писал своему племяннику Натаниэлю: «Это замужество меня просто убило. оно задело нашу семейную честь. следует забыть [мою племянницу] и вычеркнуть ее из нашей памяти».

Об Элен старались не упоминать, она была вычеркнута из памяти, забыта. Ее мать со дня замужества дочери облачилась в траур, что символизировало: дочь более не существует для нее, и она не хочет скрывать позора семьи от окружающих. Я помню, как ребенком навещал эту старую даму в ее особняке на улице Беррье. Она всегда была одета в черное, что особенно бросалось в глаза по контрасту с ее какой-то огромной прической из густых седых волос. Ее лицо казалось потерянным среди траурных одежд и седой копны волос. Я помню только, что она угощала нас, детей, конфетами.

И я, кто так часто смотрел из своего окна, выходившего на тихую улицу Сан-Флорантен, «спектакль» с площади Согласия, видный мне в рамке угловых домов Сан-Флорантен, частенько замечал на этой «сцене» знаменитую упряжку Этьена де Зюйлена. Основатель парижского Автомобильного клуба, расположенного на площади Согласия, он часто заезжал туда в потрясающей упряжке из восьми лошадей.

Для Зюйленов подобное поведение Ротшильдов было шоком. Их род восходил к знатному роду Колоннов, одному из старейших в Италии, откуда им еще в XI веке пришлось эмигрировать на земли нынешней Голландии из-за какой-то распри с Папой

Римским. И вдруг какие-то Ротшильды, история которых к тому времени насчитывала всего лишь один век, показывают им зубы. Ну что же, разрыв так разрыв.

Прошло восемьдесят лет. Ссора перешла в семейную легенду о том, что Зюйлены не переносят Ротшильдов, которые, в свою очередь, их игнорируют.

Однако я время от времени встречал отца и мать Мари-Элен. Она - красивая, стройная, элегантная женщина, всегда отвечавшая на мои поклоны чуть ироничной улыбкой; он - какой-то слегка отрешенный от мира сего, утонченный джентльмен, высокий, с мягкими манерами аристократа. Его запоминающееся, удивительное лицо казалось посаженным на широкую шею. Черты лица были отточены до предела, густая шевелюра волос с яркой проседью была всегда зачесана назад; нос его был прямым и красивым, а брови - густыми. Он почти всегда носил монокль. Бросался в глаза его удивительно четко очерченный рот и две вертикальные борозды, прочерчивающие его щеки. Он был воплощением образа рафинированного и возвышенного аристократа, но с явным оттенком чего-то аскетического, неземного в его облике. Что-то было в нем, в его обличье и манерах, что напоминало мне Христа.

Вскоре я свыкся с мыслью о том, что постоянно думаю о них, будто привыкаю к ним. Я знал всю их историю еще до того, как судьба свела наши семьи, на этот раз навсегда и для окончательного примирения. Я думаю, читатель уже догадывается о том, что произойдет. но не будем спешить.

* * *

В конце этого бесконечного для меня месяца сентября Мари-Элен все-таки вернулась в Париж. Лошади и скачки, познакомившие нас, дали нам возможность увидеться снова. Октябрь и Триумфальная арка, ноябрь и последние скачки.

Зима без скачек и без поводов видеться казалась нам слишком долгой, и мы находили какие-то предлоги, чтобы встретиться. Со временем и у нас с Мари-Элен родилась настоящая идиллия. Будучи плодом любви с первого взгляда, она вызрела за год в глубокое сильное чувство.

Конечно, как и описано в романах, мы ссорились, боролись со своим чувством. Сколько раз мы в разрушительном упорстве этой борьбы клялись друг другу никогда больше не видеться, расстаться навсегда. И наконец, в один прекрасный день, несмотря на упреки, укоры, сомнения, боль - все эти препятствия, которые воздвигались между нами нашим сознанием и давлением окружающих, - счастье и желание быть вместе преодолели все запреты, и мы улетели в Америку, чтобы там пожениться.

Спустя год после нашей свадьбы с Мари-Элен у нас родился сын, которого мы назвали в честь его деда, моего отца - Эдуардом. Мой второй сын был фактически моим четвертым ребенком. С Алике у нас был общий сын Давид, но у нас в семье росла и дочь Алике от первого брака - Лили, которую я воспитывал как собственную дочь. С Мари-Элен у нас был общий сын Эдуард, но и ее сына от первого брака, Филиппа де Николе, который к тому же, вскоре после нашей женитьбы с Мари-Элен, потерял отца, *я* воспитал как родного. Все мои сыновья были всегда очень дружны, хотя мой первый сын Давид старше Эдуарда более чем на пятнадцать лет. Лили, Давид, Филипп и Эдуард чувствовали себя детьми в дружной семье, хотя они не имели одних и тех же отца и мать.

Ребенком Филипп был очаровательным малышом с вьющимися волосами, с голубыми, задумчивыми глазами и обликом маленького белокурого ангела, тогда как Эдуард был невероятным шалуном и разбойником, проказливым и лукавым. И тот и другой воспитывались, как говорится, «в вере своих отцов», но Филипп знал нисколько не хуже, а то и лучше своего брата, молитву Шма (да еще и на иврите!), в то время как Эдуард знал наизусть всю мессу и мог отслужить ее лучше Филиппа.

Я оставил Алике нашу парижскую резиденцию и наше поместье в Рё, а мы с Мари-Элен стали подбирать себе жилье. Сначала мы снимали в Париже особняк, потом меблированную квартиру. Это тянулось больше года, пока, наконец, нам не предложили полный истинно парижского шарма особняк на улице Курсель, когда-то принадлежавший принцессе Матильде, прославившейся своим меценатством в эпоху Второй Империи. Это так подходило для Мари-Элен, радовавшейся, что именно она купила этот особняк на улице Курсель. И мы прожили в нем семнадцать лет.

Рё я покидал с сожалением, так как всегда обожал Нормандию. К тому же меня безумно трогал какой-то особый романтический дух этого поместья. Но, к счастью, на центральном паддоке конюшен Мотри, в трех километрах от Довиля, располагался замок XV века, когда-то принадлежавший одному из герцогов Нормандии.

При моем отце этот замок стоял практически заброшенным, иногда там жил наездами ветеринар. И хотя замок был не в очень хорошем состоянии, он на самом деле был подлинным сокровищем Ренессанса, сокровищем с двумя гранями: одна - со старинным коломбажем, другая - из древних камней, где в центральной зале хорошо сохранился потолок эпохи, каждая деревянная балка которого заканчивалась раскрашенной

скульптурной головой одного из герцогов Нормандии. Там были представлены все герцоги Нормандии. Я решил реставрировать замок и занялся организацией серьезных работ и посадкой деревьев. Мари-Элен взяла в руки руководство всем декором замка.

Если бы не Феррьер, я, конечно же, проводил бы все свои уик-энды в Нормандии и никогда бы не стремился к тому, чтобы иметь поместье в Иль-де-Франсе.

Но Феррьер был, он существовал.

Вернее, он существовал когда-то. Вот уже двадцать лет в замке никто не жил. Понятно, как быстро заброшенный дом приходит в упадок. и Феррьер скоро получил прозвище «замок медленной смерти», как окрестил его один из старых слуг моих родителей. Так как мы с Мари-Элен были еще в ту пору «бродячей парой» - так прозвали нас наши друзья, ибо мы еще не успели закончить реконструкцию Мотри и купить особняк на улице Курсель, - мне пришла в голову идея: а что, если восстановить часть замка Феррьер для уик-эндов?

Размеры замка делали невозможной умеренную реконструкцию всего замка; я планировал провести восстановительные работы только в одном крыле, в том самом, что выходило на озеро, с тремя салонами на первом этаже и спальнями на втором. Но я совсем забыл о вкусах Мари-Элен! Отвечая на вопросы «Анкеты» Пруста: «Каковы ваши представления о счастье?», она ответила: «Жить среди избранных тобою людей». В данном случае это означало, что одно крыло (с пятью или шестью гостевыми комнатами) было, конечно, лучше, чем ничто, но от этого «лучшего», как врага прекрасного, следовало отказаться!

Тогда я пересмотрел свой план. Вся эта глупая, в сущности, затея начинала меня увлекать все больше и больше. Я включил в проект реконструкции и второе крыло замка. Работы принимали все больший размах: надо было сверлить толстенные стены замка, чтобы сделать в нем центральное отопление, отремонтировать перекрытия, лестницы и террасы, перепланировать сады, пересадить деревья.

Мари-Элен снова взяла в руки все убранство замка; это разделение обязанностей было весьма удачным, так как всякое наше несогласие по поводу реконструкции могло проявиться лишь позже и никак не могло тормозить работу. Это была работа, сравнимая с забегом на длинную дистанцию, но и требовавшая, вместе с тем, вхождения во все мелочи: заново обставить каждый салон, каждую анфиладу замка, следовать духу гуашей Эжена Лами, найти подлинные ткани эпохи, выткать по их образцу

новые, собрать предметы мебели нужной эпохи, найти художников, способных восстановить роспись плафонов и лепнину потолков .

* * *

В 1959 году, ровно век спустя после церемонии открытия замка моим прадедом, Феррьер возродился. Мы отпраздновали это новое рождение пышным балом. Тема родилась сама собой: замок Спящей Красавицы.

Гости входили в ворота и попадали в густой лес, пройдя который они оказывались в парке. Здесь перед ними представал замок. Он слабо мерцал в ночи, загадочный и призрачный. Огромные паутины гигантскими серебряными нитями свисали с крыш. По озеру скользил призрачный корабль, он плыл в полной тишине, без экипажа, надувая свои паруса ветром далеких эпох.

И вдруг, словно по мановению волшебной палочки, замок проснулся от своего векового оцепенения: в окнах зажглись канделябры, зазвенела музыка, показались танцующие пары. На рассвете никто не хотел уходить, пришлось импровизировать для гостей завтрак.

В новых «декорациях» замка стала разыгрываться новая пьеса. Феррьер постепенно обретал былую роскошь. Вновь каждую осень по воскресеньям *я* организовывал там охоту с размахом, который я помнил по своим детским годам. Но и в другое время замок был полон. Там были, конечно, близкие друзья, наша с Мари-Элен «большая семья». Они имели свои постоянные гостевые комнаты. Были там и друзья друзей, и новые люди, которые по тем или иным причинам интересовали Мари-Элен. Я постоянно находился в окружении каких-то людей, которых явно раньше не встречал и единственным достоинством которых в моих глазах было то, что можно ничего им не говорить, так как ни им, ни мне сказать друг другу было нечего.

Мари-Элен имеет явный дар притягивать творческих людей разных специальностей. И я всегда удивлялся тому, насколько те, кто имеет яркий художественный талант и артистическую натуру, сходны между собой в чем-то неуловимом.

Например, музыканты-виртуозы. Моя мать была настоящей меломанкой, моя сестра вышла замуж за Гришу Пятигорского, да и мое многолетнее пребывание в Америке дало мне возможность хорошо узнать их «среду» - среду «служителей музыки», как они любят себя называть. И если не говорить только лишь об их темпераменте, как любят говорить об Исааке Стерне и о Ростроповиче, то следует обратить внимание на какой-то только им свойственный пыл, на широту их души, на какой-то особый энтузиазм и страстное восприятие жизни. Все это было так

свойственно моему шурину Грише или, к примеру, Артуру Рубинштейну. Только одной любовью к музыке этого сходства объяснить нельзя - но если она смягчает нравы, то может и сгладить различия! Действительно, Нуреев, Мария Каллас и Кордобес - будто родились в одной семье. Такое же сходство я нахожу между Элизабет Тейлор, Караяном и Боргом: помимо таланта, их объединяет страстность натуры. Неудивительно, что Мари-Элен привлекают люди такого типа; да и они тянутся к ней по самой природе артистических натур, по их сходству.

Многие представляют жизнь Ротшильдов как череду праздников, балов, скачек, коктейлей и светских раутов. Непонятно, как еще они успевали переодеваться и работать. А ведь их работа - это был их же собственный банк!

Думая так о Ротшильдах, забывают, что Джеймс, великий труженик перед лицом Вечности - он всегда все знал и контролировал, - оставил своим потомкам, помимо прочих богатств, следующее изречение труженика, завет своим детям: «. перед смертью понимаешь, что работа - это сокровище».

Это не мешало ему устраивать приемы четыре вечера в неделю в особняке на улице Лаффит, да еще с какой роскошью! На ужинах у него собиралось часто более шестидесяти приглашенных; рядом со знатными аристократами можно было встретить, «запросто», рука об руку - по словам Генриха Гейне - большинство знаменитостей эпохи, ученых, писателей, музыкантов, художников, поэтов - Клода Бернара и Араго, Бальзака и Жорж Санд, Россини и Шопена, Энгра и Делакруа.

Джеймс любил не просто принимать с размахом, он умел делать это со вкусом и особым шиком. Его шеф-поваром был не кто иной, как Карем - этот мэтр талейрановской кухни, а проектировал и декорировал праздники знаменитый архитектор Берто, именно тот человек, советам которого следовал граф д Артуа, потрясающий знаток в этой области, в эпоху вечеров в Багатель.

* * *

Итак, Мари-Элен очень любит праздники. Мари-Элен обожала использовать любой повод для праздника., тогда как я пытался всеми силами сдержать ее рвение и пыл, хорошо понимая, во что все это выльется с точки зрения неоправданных расходов. Мое неотъемлемое свойство - оставаться всегда финансистом и помнить, что надо вести себя так, чтобы в один прекрасный день твои финансы не «запели романсы».

Я не собираюсь превращать свое изложение в антологию праздников и балов, данных Мари-Элен. Расскажу лишь о двух выдающихся балах в Феррьере: о бале Пруста по мотивам его

романа «В поисках утраченного времени» и о сюрреалистическом бале под девизом «Время измышления».

12 декабря 1972 г. несколько десятков человек получили странные открытки, на которых в прорези, сделанной на фоне картины Магритта, изображающей бегущие по небу облака, «плавали» какие-то иероглифы. Нужно было догадаться прочитать текст в зеркале, чтобы понять, что получивший эту открытку приглашается на сюрреалистический ужин.

В глубине темной аллеи замок, освещенный красными огнями, казался добычей пожирающего его пламени.

На парадной лестнице - надо было бы лучше сказать - на лестнице ужасов - все выглядело внешне спокойным, гармоничным и величественным, как и положено. Целая армия лакеев, но лакеев необычных, с кошачьими головами, спали на ступеньках, на перилах, на балконах в позах самых невероятных.

Затем начиналось нескончаемое путешествие гостей по темному лабиринту, бесконечному лесу черных лент, которые надо было раздвигать, как ветви, чтобы двигаться дальше; надо было пробираться в этой тьме ощупью, туда, где мелькали издалека кошки-лакеи в ливреях с изображением пламени, призраков, фантастических животных среди гигантской паутины. Таинственные голоса шептали забытые тексты Макса Жакоба или Карко. Дорога в лабиринте была столь долгой, что когда, наконец, дрожащие от сладкого ужаса гости выходили из дверей этого «ада», они с облегчением вздыхали. В салоне гобеленов, ослепляющем после темноты своими золотистыми, красными и розовыми тонами, Мари-Элен - *я* хочу сказать, моя жена-олень, плачущий олень с бриллиантами в глазах - и я - в головном уборе, украшенном огромными натюрмортами, - еле удерживались от громких восклицаний при виде неузнаваемых в их фантастических костюмах гостей.

Где-то вдалеке невидимый пианист наигрывал мелодии Сати. По залам двигались вереницы масок, сошедших с картин Магритта, Макса Эрнста, Кирико, Пикабья, Дельво, Танги и, конечно же, Дали. Иногда им удавалось распознать, кто был под маской, и это было очень занятно - взаимные поздравления узнавания. А затем перед гостями представал живой Дали, да-да, он сам во плоти и с единственной деталью, которую он добавил к своему всегдашнему экстравагантному облику - он навощил свои знаменитые усы. Дали восседал в кресле на колесах, которое катили две санитарки, в руках у него был открытый зонтик, озаряемый вспышками, так как он держал в руках лазер, который он направлял в разные стороны своей гениальной рукой. Гала, его жена, была одета в одежды-гала, Леонор Финн - в костюм ночной

птицы, художник Станислав Лепри засунул в свою длиннющую бороду целую группу целлулоидных человечков, мальчиков-с-пальчиков, потерявшихся в седой чаще его бороды. Гости постоянно натыкались на плоды, падавшие с деревьев - головы в форме яблок простирались перед головами-грушами, и все это управлялось сложным устройством наподобие часового механизма. Фантастические животные встречались рядом с вполне реальными тварными особями; звери - обитатели ада скалили зубы, охотясь на тех, кто не попал в земной рай, и далее буквально:

Одри Хепберн надела на голову клетку, маленькая дверца этой клетки открывалась лишь для приема пищи!

Алексис де Реде был в маске с ящичками, наполненными портретами Мари-Элен на фоне улыбающейся Джоконды, но в четырех разных ракурсах и с разной улыбкой!

Мишель Ги всадил в свой лысый череп клинок, с кровавыми каплями рубинов, Дениз Тиссен была женщиной с двумя лицами: прямо над ее настоящей головой возвышалась вторая, такая же точно, но только искусственная, и две шевелюры блондинистых волос естественно переплетались. Говоря с ней, нельзя было понять, с какой из голов ты реально говоришь, потому что время от времени искусственная голова также открывала рот.

Все гости получили карточки с указанием их мест за столами - это были: стол золотых спящих кошек; стол свергнутых королев; стол бракованных (развинченных) кукол; стол непарных ботинок. Но по этим карточкам ничего нельзя было найти. Гости метались между столами, царил полный хаос, пока наконец метрдотелю в высокой шляпе и с гвоздикой в петлице не была дана команда помочь гостям разгадать все эти ребусы и проводить каждого на заранее отведенное ему место.

В центре каждого стола, покрытого скатертью небесного цвета, красовалась какая-нибудь композиция по мотивам художников или поэтов-сюрреалистов. Эти композиции производили впечатление безумное, пестрое и поэтическое одновременно. Стол «с флорентийскими яйцами» представлял собой гору вареного шпината, усыпанного муляжами женских грудей, с водруженным на все это скелетом гигантской птицы. Перед каждым приглашенным стояла меховая тарелка с квадратом небесного цвета, где было написано его имя, как бы зажатое между красными губами Мэй Уэст; маленький голубой хлебец, знаменитый *pain peint*; перед каждым стоял бокал с этикеткой*к vin vain;* также перед каждым находились меню и прибор для пускания мыльных пузырей. Меню было написано каллиграфическим почерком между двумя широкими полями -

лазурным и пасмурным. Это меню производило бредовое впечатление, усиливающееся еще и тем, что у всех гостей меню было совершенно различным по составу блюд. То, что у одних называлось «суп экстра-светлый», у других называлось «консоме из глаз крокодила»; «грустная картошка» называлась у других «суфле из земляных яблок, занесенных сюда ветром», а также «глупые клубни»; салаты: «и это - ты?», «заткнись и жуй»; были в меню и блюда под названием «текущие вещи», называвшиеся также «много бри из ничего», или «коровы и козы, вопящие от грусти». И наконец, следовал «десерт тартар», который в другом меню назывался «наконец-то!».

Готовясь к балу, мы развлекались поисками этих словечек и понятий, поисками «жемчужин», далеко не всегда таких уж забавных!

Названия блюд были так тщательно зашифрованы, что никто из гостей не мог догадаться, что же ему подадут.

В конце ужина, под аплодисменты, восемь мужчин вынесли на подносе обнаженную женщину. сделанную из сахара, на ложе из роз; рядом лежал молот, которым надо было ее разбить, прежде чем съесть; это был воистину «десерт варваров», не правда ли?.

После ужина снова начались танцы, в салонах открылся ночной клуб «Туретчина», гости фотографировались на канапе, представлявшем собой гигантские губы Дали, под портретом Мэй Уэст. Веселье продолжалось до рассвета, все были увлечены этой игрой и своими выдумками - мне кажется, что главным на этом бале было творчество, да-да, именно оно.

На следующее утро, когда все сняли маски, повседневные, натуральные лица показались всем очень. забавными!

* * *

Бал Пруста, посвященный столетию писателя, оставил самые лучшие воспоминания. На старинных картонных карточках были выгравированы приглашения на ужин для тех, кто мог считаться потомком героев Пруста: для аристократов и дипломатов, для банкиров и особ королевской крови, академиков и министров, художников и светских людей из Парижа и со всего света.

Устроители бала просили мужчин быть во фраках, а женщин - украсить их вечерние туалеты перьями, драгоценностями и цветами. Приглашенные ответили потрясающей изобретательностью и энтузиазмом. Такого давно не видели: восемьсот приглашенных были одеты с невероятной роскошью и блеском, тонкостью и изыском деталей.

Гости входили в замок по длинной аллее, стройные деревья которой стояли совершенно голыми, раздетыми. В каждом окне

затемненного фасада замка призывно светилась хрустальная люстра. Восемь огромных факелов окружали центральный вход, к нему бесшумно подъезжали роскошные лимузины, из которых выходили закутанные в меха персонажи из прошлого.

Парадная лестница была украшена пальмами и цветами в кадках. Двадцать цыган в красных костюмах-униформах пели серенады прекрасным дамам, которые снимали свои меха и капы и представали во всем блеске вечерних уборов.

При входе гостям вручали карточки, на которых фиолетовыми чернилами были написаны имена, взятые из Пруста (Сван, Одетта или Жильберт-Вердюрен, Шарлюс или Сан-Лу.), что являлось обозначением обеденного столика. Затем они двигались по длинному загадочному коридору, освещенному только факелами в руках лакеев, одетых в красные ливреи и пудреные парики. Время от времени до слуха гостей доносились выкрикиваемые мажордомом у входа в залу знакомые прустовские имена (герцог и герцогиня Германтские, маркиз и маркиза Вильпаризи, принц де Лом и т. д.). И наконец гости представали перед хозяевами дома - он, с посеребренными сединой усами, во фраке, она - в длинном атласном платье, созданном специально для этого случая Сен- Лораном. Исход из длинного коридора согревала атмосфера салона гобеленов - все было в красно-розовых тонах. Затем гости проходили в голубой салон, за которым следовал большой музыкальный салон. Все было безупречно выдержано в духе эпохи - мебель, ковры и гобелены, предметы убранства и зеркала; лишь потрясающие букеты из бледных или совсем белых цветов и обилие пальм и цветов в кадках напоминали о том, что это праздник.

Шум бальной толпы становится все громче, все явственней, гости все прибывают, и вот уже мы слышим приглушенные звуки рояля - играют Рейнальдо Ана или Сати. Гости толпятся у столов, покрытых бледно-розовыми и зелеными скатертями, занимают места за столиками. Чувствуется, что от платьев со шлейфами отвыкли все. Царит небольшое замешательство, кавалеры наступают дамам на шлейфы, раздаются возгласы восхищения туалетами дам и кавалеров. Всем хорошо; все сияет. Начинается ужин.

И наконец, огромная оранжерея, самый большой из когда-либо виденных зимних садов. Баронесса Ги де Ротшильд, художники Жан-Франсуа Дэгр и Валериан Рибар превратили огромный зал замка в необычный лес из тысяч экзотических растений и цветов, многократно отраженных в необъятных зеркалах трельяжа. Для того чтобы придать больше уюта этой зале размерами с кафедральный собор, была придумана

драпировка потолка зеленым шелком, собранным изящными складками вокруг поражающей своими размерами хрустальной люстры.

Орхидеи, лианы и другие зеленые вьющиеся растения как будто «бегут» по зале, по ее золотистым шелковым обоям, колоннам, статуям и скульптурным бюстам. Триста пятьдесят гостей разместились здесь за столиками. И здесь их ждали приятные сюрпризы: веера бледно-розового цвета с фиолетовыми лентами и написанными на них именами персонажей Пруста, скатерти из плиссированного муслина, льняные палевые салфетки, обшитые белыми кружевами, с вышитыми на них гладью в сиренево-фиолетовых восхитительных тонах любимыми цветами Одетты - орхидеями. Здесь же были стилизованные под старину меню, включавшие загадочные блюда и самые известные марки вин: консоме Аврелий, пюре из камбалы Маэню, утка по-мадриленски, салат Кларинда, суфле-гляссе Аженор; Шато-Лафит-Ротшильд, Моэт и Шандон, Шато-Икем.

Ужин подавала целая армия метрдотелей в красных ливреях эпохи Людовика XV. Эта трапеза была, как сон, как мечта, теплая, искренняя, изысканная, быстро летящая под легкую цыганскую музыку, кружившую головы и сердца.

К полуночи собралась и вторая «волна» приглашенных: молодые друзья хозяина бала - юные франты, слегка надменные и чванные, во фраках или мундирах прустовской эпохи, и юные девушки и дамы, блиставшие бриллиантами, рюшами, перьями и увешанные драгоценностями в старинном духе.

Они танцевали в импровизированном «ночном клубе», самом необычном, наверное, за всю историю: затемненная столовая зала замка освещалась только отблесками золота на старинных кожаных панно из Кордовы да подсветкой над развешанными по стенам рисунками Рембрандта. Играл современный оркестр. Мерцали ночники на маленьких столиках, задрапированных зелено-золотыми тканями.

Потом по залам пополз слух о том, что гостей ожидает сюрприз в каком-то, доселе закрытом, маленьком салоне. Там, перед огромным живописным полотном в старинном духе, изображавшем замок, стоял стул в стиле Наполеона III, круглый столик и пальма в кадке: в этом старинном интерьере можно было сфотографироваться вдвоем и группой, разместившись перед объективом прекрасного фотографического аппарата образца 1900 года. Фотографом был не кто иной, как Сесил Битон, в костюме той эпохи. Он артистично нырял под черную материю, предупреждал о том, что сейчас «вылетит птичка», и о том, что пластина с негативом вашего портрета будет готова

позже и вы получите ее как сувенир, как память об этой волшебной ночи.

Веселье в разгаре. Все возвращаются в оранжерею, как по мановению волшебной палочки превращенную в бальную залу; по стенам - буфетные столы, покрытые сиреневыми скатертями и украшенные орхидеями. На них - горы пирожных мадлен и сахарных фиалок. Играют забытые вальсы, польки, мазурки. Гости танцуют, постепенно переходя к более современным танцам. Бал растекается по залам. Вальсы, вальсы. И, конечно, улыбки женщин, каждая из которых в этот вечер почувствовала себя герцогиней Германтской.

Наступает рассвет.

Озеро в саду скрыто туманом. Замолкают цыганские мелодии. Пора покидать мир мечты, этот прекрасный сон.

* * *

Через несколько лет после описанных мной праздников в Феррьере Мари-Элен позвонила мне в банк по телефону.

- Скажи, ты чувствуешь себя все еще молодым? - спросила она.

Я не сразу понял, к чему она клонит, но мне было очевидно, что это будет нечто потрясающее! Спокойным тоном я ответил, что чувствую себя в хорошей форме. Я ждал, что же будет дальше.

- Так все-таки, чувствуешь ли ты себя настолько молодым, чтобы изменить свой образ жизни в течение двух часов?

- А почему бы нет? - ответил я уже упавшим голосом. Черт возьми! Я даже и не предполагал, что это зайдет так далеко.

Так я узнал, что особняк Ламбер выставлен на продажу и что Мари-Элен, изучив обстановку, решила, что мы можем его купить, что мне казалось тогда явной авантюрой.

И хотя я и чувствовал себя молодым, все это предприятие покупки представлялось мне безумием. Мне стоило целых годов усилий убедить Мари-Элен в необходимости закрыть замок Феррьер, и вот на тебе - она предлагает мне купить целый замок в Париже!

Я хорошо знал роскошный особняк Ламбер, так как Алексис де Реде, один из наших близких друзей, снимал большую часть этого дворца. Он занимал в нем этаж, на котором находились самые пышные и роскошные залы и знаменитая Геркулесова галерея. Алексис прожил там тридцать лет, и именно он занялся тщательной реставрацией этого архитектурного памятника, вернув жизнь его залам, реставрируя старинные полотна и занимаясь поисками утраченных картин и элементов декора. Некоторые панно из особняка Ламбер оказались в Лувре, а именно - панно из «Амурного кабинета», и он заменил их на

другие панно той же эпохи.

«Это - дворец для короля, который смог бы стать философом», - как-то написал Вольтер, живший одно время в этом дворце. Но *я* не был ни королем, ни философом!

Конечно же, во дворце Ламбер часто играл Шопен. И может быть, именно здесь он написал какие-то свои баллады или вальсы, посвященные моему прадеду или его дочери Шарлотте, единственной дочери Джеймса, которая была одной из лучших учениц Шопена. И несомненно, мои предки протежировали Шопену, принимали его, помогли ему завоевать популярность и славу во Франции. Но этого еще было недостаточно для покупки дворца!

Но Мари-Элен уже проанализировала все очень внимательно и тщательно продумала детали. Она понимала, что наличие во дворце Ламбер отдельных апартаментов позволяло жить под одной крышей разным поколениям нашей семьи. Кроме того, моя мама умерла за несколько месяцев до этого, и я должен был разместить в достойных интерьерах основные коллекции предметов искусства и старины, собранные моим дедом Альфонсом и завещанные мне матерью.

В то время, когда я закрывал замок Феррьер, было уж не таким безумием «обменять», как говорится на языке права, «улицу Курсель» и «авеню Фош» на «улицу Сан-Луи-ан-Иль».

Но задача предстояла нелегкая и не быстрая к разрешению: более века частью дворца владела польская семья, требования которой были очень высоки; к тому же, особняк Ламбер готовы были купить многочисленные иностранные знатоки и любители старины. Мари-Элен взяла все переговоры в свои руки, и так, постепенно, переходя от прямого наступления к тактическим хитростям, она добилась успеха: соглашение было достигнуто, Ламбер снова стал собственностью французов.

Как известно, дворец Ламбер является одним из сокровищ архитектуры классицизма. Он построен гениальными создателями Версаля: Ле Во, Лебреном и Ле Сюёром.

Квадратное здание имеет внутренний центральный двор и простирается на северо-восток одним из своих крыльев, выходящих на стрелку острова Сан-Луи, как нос корабля. Таким образом, оно выходит одной стороной на Сену, а другой - на сад во французском стиле. Парадные залы дворца, расположенные в обоих его корпусах, обрамляющих этот сад, занимают два этажа. Но если знаменитая Геркулесова галерея - названная так, потому что Лебрен изобразил на ее плафонах подвиги Геракла - и прилегающие залы были отреставрированы, то нижний этаж необходимо было полностью приводить в порядок. Мари-Элен

буквально впряглась в эту работу с помощью итальянского декоратора Ренцо Монджардино.

Их сотрудничество оказалось успешным и плодотворным (Мари-Элен была так увлечена, что даже когда бывала больна, а она в тот год много болела, то приезжала руководить работами в сопровождении врачей «скорой помощи») и привело к воссозданию во дворце Ламбер подлинной атмосферы и духа Великого Века. Им удалось, так же, как это удалось в свое время Джеймсу Ротшильду в отношении дворца королевы Гортензии, создать ту неповторимую поэтическую атмосферу убранства и архитектуры, которая делала его более дворцом художника, нежели особняком миллионера.

Убранство салонов полностью соответствовало тем предметам искусства и старины, которые должны были там разместиться. Каждый предмет коллекций нашел во дворце Ламбер свое место, будто всегда и находился там.

* * *

Я уделил здесь достаточно много внимания вещам, которые мы зачастую необдуманно называем «тонкими».

Я сделал это неслучайно именно в то время, когда обстоятельства заставляют Ротшильдов изменить свою жизнь. Именно в этот момент я начал лучше понимать, что легло в основу легенды о Ротшильдах и что составляет их славу. Это не только умение создавать и хранить богатство, деньги, состояние, но и отважиться на более сложное. Оставаться самими собой сквозь времена и моды.

Мало того, что даже в самых неблагоприятных условиях они никогда не пытались отказаться от своих исторических еврейских корней и налагаемых этим на них обязательств, они никогда не стыдились своего богатства и не пытались изменить свой стиль жизни в угоду конъюнктуре. Обычно говорится «благородство обязывает». Ротшильды самой своей жизнью предложили еще и другой девиз - «богатство обязывает». И мне кажется, что этим двум девизам они следуют неукоснительно.

Сиюминутным «мыслителям», которые в угоду популистским настроениям культивируют ненависть к деньгам, обещая взамен «светлое будущее», я хотел бы напомнить следующее: «Вкус к жизни и к ее праздникам - удел счастливых людей».

Вместо заключения
Верность своему народу…

Мой отец сохранил глубокую преданность наших предков иудаизму Впрочем, кроме Шабата (известно, что в этот день запрещается и охотиться, и скакать верхом), он соблюдал основные праздники, освященные религией евреев скорее из уважения к традиции, нежели из истинной религиозности. Он присутствовал на службе в Рош-а-Шана, Йом-Кипур и в пасхальные дни. Накануне Йом-Кипура особенно следил за моим поведением; после ужина, последнего перед постом, мы пешком шли в синагогу на улице Виктуар, я надевал черный костюм, белый галстук и высокую шляпу. Люди на улице смотрели на нас с удивлением.

Конечно, отмечали мою бар-мицву, своего рода первое причастие. По этому случаю была устроена пышная церемония, и помнится, что, распевая молитвы, я от страха фальшивил.

Еще я вспоминаю седер - ужин накануне Пасхи (праздника, посвященного исходу евреев из Египта в 1500 году до нашей эры), когда собиралась вся семья. Я испытывал волнение, читая наизусть «Ма Ништана», но лишь смутно чувствовал символический смысл различных обрядов, сопровождавших эту церемонию.

Посреди стола перед главой семьи раскладывались различные предметы, каждый из которых что-то символизировал: кость ягненка служила напоминанием об агнце, принесенном евреями в жертву накануне дня, когда произошла десятая казнь египетская; три «полных» мацы - лепешки из муки без дрожжей, называемых также пресным хлебом, - в память о спешном бегстве евреев, преследуемых египетским фараоном; горькие травы, например хрен, напоминают о горечи жизни евреев в египетском рабстве; тесто, приготовленное из протертых фиников и инжира и воскрешающее в памяти известковый раствор, который месили евреи-рабы, строившие пирамиды; и наконец, яйцо - оно не имеет ни начала, ни конца, это сама бесконечность, вечность, надежда на вечное возрождение жизни.

Седер - это еще и благоприятный случай собраться всем вместе за веселым и добрым праздничным столом. Мы хором пели ликующий гимн, славящий Бога, аллел (от этого слова произошло слово «Аллилуйя»). После этой трапезы в течение восьми дней ели только пресный хлеб.

И конечно, начиная с моей бар-мицвы, я все детство

соблюдал пост во время Судного дня.

Мой отец чувствовал себя ответственным за еврейскую общину. Всю свою жизнь он возглавлял главную еврейскую организацию Франции - Центральную Консисторию, и с начала гитлеровских гонений в Германии он отдал много сил для помощи беженцам.

Обязательное правило, которое вошло в плоть и кровь моих родителей и которое повторялось при каждом удобном случае, - это запрет жениться на женщине неиудейской веры или не готовой эту веру принять. И если позднее я отошел от этих наставлений, это значит, что они не стали основой модели поведения, заложенной в юности.

С усилением в предвоенной Франции антисемитизма, вызванного примером Германии и разжигаемого ненавистью к Народному фронту, ко мне пришло чувство ответственности за моих единоверцев, как это всегда было в моей семье.

Действия правительства Виши и статус евреев еще более обострили это чувство активной солидарности; кроме того, все чаще становились известными ужасы преследования и травли евреев и судьба евреев, заключенных в нацистские концлагеря.

И вот я вновь в синагоге на улице Виктуар через несколько недель после освобождения Парижа. Впервые за четыре года я пришел на праздник Йом-Кипур. Народу в синагоге было мало, там и здесь виднелись свободные места. А те, кто находился в зале, только недавно вышли из своих убежищ. Я представил себе лица тех, кто должен был быть среди нас, но кого больше не было, чьи места оставались пустыми. Живые словно соседствовали с призраками мертвых. Меня охватило волнение. Было во всем этом что-то странное, сверхъестественное, ирреальное, что-то хватающее за душу и жуткое. Кровавое напоминание об «ужасе ужаса».

* * *

По примеру американских еврейских организаций и с их помощью сразу после войны у нас было организовано объединение, в функции которого входило руководство всей социальной и культурной жизнью нашей общины и ее финансирование. Эта организация называлась «Объединенный еврейский социальный фонд» (О. Е. С. Ф.), ее первым президентом был Леон Мейс, прекрасно проявивший себя на подпольной работе во время войны. Через два или три года это место унаследовал я. Я занимал этот ответственный пост в течение более тридцати лет, вплоть до апреля 1982 года.

О. Е. С. Ф. объединял евреев, принадлежавших к разным политическим, религиозным или культурным течениям, и это

было важно, чтобы поддержать единство, сохранить равновесие всех тенденций и, в особенности, для наблюдения за тем, чтобы все важные решения обсуждались большинством членов общины и отвечали общим интересам. Будучи на этом посту в течение столь долгого времени, *я* подчас сталкивался с проблемами, которые выходили за рамки жизни общины как таковой и касались трудностей политического характера, когда требовалось вмешаться и ратовать то за активные действия, то за умеренность.

Так, например, в 1955 году один католический священник вызвал всеобщее возмущение своим отказом вернуть семье Финали их двоих детей, которых он спас во время войны; несомненно, он хотел их обратить в католическую веру. В моем окружении в этом увидели начало новых гонений на евреев, и я приложил все, какие только возможно, усилия для того, чтобы охладить столь несвоевременный пыл моих коллег. Я сделал заявление, на которое впоследствии многократно ссылались. Я призывал не обвинять в ритуальном похищении человека, спасшего детей от ритуального преступления. Я всячески поддерживал Каплана - Главного раввина Парижа, который очень искусно вел переговоры с католическими иерархами, поставленными в трудное положение и растерявшимися, - в результате детей вернули в их родную семью.

Большим событием начала 60-х годов стало массовое возвращение во Францию ста пятидесяти тысяч евреев из Алжира (не считая тех, кто приехал из Марокко и Туниса). Социальный фонд должен был мобилизовать людей и средства, чтобы их принять, обустроить и облегчить их интеграцию в экономическую и культурную жизнь страны.

В 1967 году усиливающееся напряжение между Израилем и Насером мне ясно показало, что, выступая против военного решения конфликта, де Голль готовится к смене политического курса, до сих пор ориентированного на традиционный франко-израильский альянс. Считая своим долгом действовать, я один отправился в субботу (накануне начала военных действий) в Елисейский дворец, чтобы встретиться с Этьеном Бурен де Розье, ответственным секретарем канцелярии президента. Елисейский дворец казался пустым, но вскоре я узнал, что Генерал находится в своем кабинете, так как он прервал нас парой реплик, попросив своего сотрудника зайти к нему. Я объяснил, что если я правильно понимаю намерения де Голля, то мой долг предупредить его о возможности вполне определенной реакции еврейской общины. Тогда все помнили, что де Голль ничего не сделал, чтобы признать пусть скромное, но особое место евреев во французском мартирологе; что он не присутствовал на

открытии восстановленной синагоги в Страсбурге; что, несмотря на мою настойчивую просьбу, он не почтил своим присутствием церемонию открытия памятника Неизвестному еврейскому мученику. Теперь этот перечень увеличится, сказал я моему удивленному другу, который мне пообещал все передать Генералу. Но де Голль ничего не сделал и на этот раз, он называл еврейский народ «самоуверенным и властным», что сути дела не меняло.

В том же году во время кризиса, предшествовавшего Шестидневной войне, я пытался убедить тогдашнего премьер-министра Жоржа Помпиду, что закрытие Тиранского пролива, каким бы маловажным он ни казался как морской путь, наверняка создаст для Израиля ситуацию «казус белли», то есть явится поводом к войне. Когда военные действия уже начались, Помпиду дал разрешение министру вооруженных сил Пьеру Мессмеру задержать введение в действие эмбарго, чтобы осуществить последние поставки оружия Израилю, который в тот момент полностью зависел в этом от Франции. Тогда же я узнал, что план израильских операций изучался вместе с французским Главным штабом, который ежеминутно следил за его развертыванием и заранее информировал министра об ожидаемых действиях.

* * *

Что же касается политической позиции Жоржа Помпиду по отношению к Израилю и его личных чувств, то об этом я писал в короткой статье, опубликованной в газете «Лё Монд» в апреле 1974 года через несколько дней после его смерти:

«<…..> Мы очень много говорили с ним о Ближнем Востоке и об Израиле, и я сожалею, что мнение еврея он либо неправильно понимал, либо неправильно интерпретировал. Либералу по природе, ему была неведома любая нетерпимость, он не антисемит, и это его кредо. Так, только утих его гнев, вызванный недружелюбной демонстрацией евреев Чикаго, он сразу позаботился о том, чтобы показать, что он не испытывает никакого озлобления по отношению к французским евреям и что «Если их сердца переживали за Израиль, то это были французские сердца».

Его симпатии были на стороне Израиля, и в ходе Шестидневной войны он, насколько мог, задержал вступление в силу эмбарго, которое Кэ д Орсе хотело ввести непосредственно перед тем, как его официально обнародовал де Голль. И в то же время, воспитанный историей и классицизмом, Жорж Помпиду не понял горячей страсти сионизма, не уловил романтики революционного содержания эпохи, которая с 1945 по 1948 год вела к еврейскому освобождению и независимости Израиля.

Серьезный и здравомыслящий политик ожидал, что Израиль поведет себя, как старая держава. Не имея возможности следить за событиями в Израиле, определяющими жесткость народа, лишь недавно обретшего независимость, Помпиду был шокирован рядом инцидентов.

В области внешней политики Жорж Помпиду разделял убежденность де Голля в том, что Израиль, окруженный арабскими странами с населением несравнимо более многочисленным, не сможет выжить, опираясь на силу, но лишь проводя политику соглашений и компромиссов. По его мнению, ни средств, ни времени не следовало жалеть, чтобы достичь этого, и он рассчитывал, что Израиль проявит столько же выдержки и самообладания, сколько вынуждена была проявить Франция по отношению к народам своих бывших колоний.

Уроки войны Судного дня не противоречат такому взгляду на вещи, и если Жорж Помпиду недооценил невыносимое нервное напряжение, навязанное Израилю, то я уверен, причиной тому не отсутствие симпатии к этой стране и не безразличие к ее будущему. <.....>»

Предвыборная президентская кампания 1981 года и серия серьезных антисемитских акций, таких как кровавое нападение на синагогу на улице Коперника, приведшее к человеческим жертвам, вызвали резкие выступления группы еврейских активистов. Они упрекали руководство общины в слишком снисходительной позиции по отношению к властям. Они были вправе так говорить, но я считал эту критику несправедливой. В то же время эта группа призывала голосовать против правительства, срок полномочий которого истекает, и пыталась создать еврейское лобби. Наконец, она демонстрировала безусловную поддержку всех действий Израиля, вызывая раздражение даже тех, кто Израилю симпатизировал. Если, как это случилось после акции на улице Коперника, такого рода покушения будут поводом для шествий с израильскими флагами, то это может оттолкнуть многих евреев - горячих защитников Израиля, но при этом желающих оставаться французами и не желающих, чтобы их считали израильской колонией, проживающей в Париже. Речь не идет о том, чтобы скрывать наши чувства или не оказывать поддержку Израилю, а лишь о том, чтобы независимые и ответственные граждане могли свободно выражать собственное мнение и сохранять свою национальную идентичность. В этой связи я должен был еще раз публично заявить о взвешенной позиции французских евреев.

После нападения на синагогу на улице Коперника много говорили об антисемитизме во Франции, сравнивали нашу страну

со странами Восточной Европы, обвиняя власти в создании благоприятного климата для усиления подобных тенденций. И здесь тоже критику нельзя считать справедливой. Мало кто знает, что еврейские школы во Франции субсидируются государством, ведь этого почти нигде нет; еще более поразительный факт: прохождение военной службы в Израиле освобождает от воинской обязанности во Франции.

И если, к несчастью, к антисионистским акциям палестинских экстремистов присоединяются всплеск неонацизма или выходки красных террористов во Франции, то в этом Франция не одинока.

* * *

Как никто другой, моя семья испытала на себе проявления антисемитизма, в особенности во время дела Дрейфуса. Дрюмон в своей газете «Ла Либр Пароль» от души потешался над этими событиями. Я приведу всего лишь две или три из его нападок - первые пришедшие на память. Известно, что мой дед Альфонс де Ротшильд по собственной воле отказал своему лучшему клиенту - России, не желая сотрудничать с режимом, виновным в кровавых погромах. Дрюмон расценил это выражение солидарности как «позорный поступок»: «Ротшильды не остановились перед предательством. Они преследуют одну только цель: помочь своим единоверцам в России».

Самые легкие оскорбления антисемитского толка касались «жалкого» происхождения моей семьи («потомки старого коробейника, за которым с лаем бежали собаки, когда он проходил по деревням. потомки грязного старьевщика из Франкфурта»). И тут же бессовестные рассуждения о нашем «чудовищных размеров» состоянии («их громадные капиталы, как тысячи пиявок. Мировые банки сегодняшних Ротшильдов, куда набиваются состояния королей и народов»).

Рассуждения об извечной ненависти иноземца («варварская жестокость немецкого еврея, хищного и прожорливого») подкреплялись презрительным утверждением о мифическом могуществе золота: «Апатрид Ротшильд - хозяин «Банк де Франс», он имеет больше власти, чем министры, чем Президент Республики, чем сам Парламент».

Как видим, все темы затронуты, впрочем, вариантов не так уж много!

Но есть кое-что получше. Ненависть слепа и не боится противоречий: «Ротшильд был в Общине так же, как он был среди оппортунистов, как он был среди анархистов, среди социалистов, как он был везде»! Ненависть даже не боится выглядеть смешной: когда история не в силах снабдить Дрюмона хоть каким-нибудь

обвинением в предательстве, он вовсе не отчаивается. Нельзя найти ни единого следа Ротшильдов в Панамском скандале - одном из самых громких финансовых скандалов XIX века? «Их нельзя найти просто потому, что они были настроены враждебно по отношению к Панаме (!) А враждебно к Панаме они были настроены потому, что эти немецкие евреи всегда и во всем против Франции»!

Антисемитизм играет столь важную роль в истории евреев, что они не могут удержаться, возможно, не без известной доли мазохизма, чтобы не сохранить несколько особенно наглядных сувениров. *Я,* например, взял в рамочку карикатуру Сема, на которой изображены мои дед и бабушка, Альфонс и Лори, старые, сгорбленные, одинокие, прогуливающиеся по тротуарам Довиля, напротив пляжа, усеянного пустыми стульями. Это было во время дела Дрейфуса, и карикатурист показал своим рисунком, что при приближении моих родных все разбегались, чтобы не здороваться с ними.

Робер Бадентер как-то дал мне номер «Ла Либр Пароль» за декабрь 1905 года, статьи которого, написанные, легко догадаться в каком тоне, были посвящены памяти моего деда Альфонса, названного там «Золотым королем». Вопреки всякому здравому смыслу *я* храню и этот документ тоже под названием «сувенир», если так можно выразиться.

В целом моя семья всегда занимала сдержанную позицию в отношении сионизма, и мой дедушка Эдмон действовал в одиночку, оказывая евреям Палестины значительную поддержку, скорее, впрочем, из гуманитарных и религиозных, нежели политических соображений.

Потрясение, вызванное войной и истреблением шести миллионов евреев, радикально изменило все прежние позиции. Само понятие «родина евреев» приобрело огромную эмоциональную значимость, я сам стал страстным сионистом, но не предполагал в связи с этим менять свою судьбу и судьбу моих близких. Само слово «сионист» вводит в заблуждение, поскольку обозначает как сторонника государства Израиль, так и человека, твердо решившего эмигрировать в эту страну.

В 1945 году я отправился в краткую поездку на Ближний Восток; мне поручили собрать и сообщить свои наблюдения. В Иерусалиме Бен Гурион, любивший во всем точность, спросил меня, а это была наша первая с ним встреча, сионист ли я. Видя, что я медлю с ответом, он уточнил:

- Вы хотите здесь воспитывать вашего сына?

Сожалея, что разочарую его, я ответил отрицательно, и причина была понятна.

Я провел две недели в Палестине и посетил различные еврейские поселения, в частности, побывал во многих киббуцах. Каждый из них имел свои характерные черты, политические или географические, и, хотя руководство это отрицало, я встретил много проявлений нетерпимости, например, нежелания принимать в киббуцы выходцев из других стран. Вместе с Артуром Кёстлером, который тогда только приехал в Палестину, я праздновал первый вечер Пасхи - седер - в киббуце эмигрантов из Югославии. Это киббуц Эйн Гев, расположенный на берегу Тибериадского озера.

С нами был молодой человек по имени Тедди Коллек - знаменитый мэр Иерусалима, и наша с ним долгая дружба началась здесь, среди толпы, танцующей хору.

Во время этой же поездки я заехал в Каир, где познакомился с одним очень компетентным и интересным человеком, офицером разведки. Он поделился со мной своими пессимистическими прогнозами относительно интересов Франции в этом секторе земного шара.

Возвращение на самолете заняло три дня, с учетом промежуточных посадок в Бенгази, Тунисе, Алжире; я учитываю также разницу во времени и скорость. Вернувшись, я написал отчет департаменту министерства, которое организовало мою поездку. В этом отчете я изложил важную и во многом прозорливую информацию, полученную в Каире, и мои собственные наблюдения. Я показал, почему мне кажется очевидным, что в самом ближайшем будущем Франция потеряет Сирию и Ливан. Никого это не взволновало, если вообще кто-нибудь читал мой отчет. Через несколько недель события подтвердили изложенные мной предположения, и лишь одно это обстоятельство принесло мне некоторое удовлетворение.

Я рассказал моим английским друзьям из Лондона о том восторге, который *я* испытал в киббуцах, где, как мне показалось, удалось, отменив деньги, дать людям всю полноту свободы и счастья. Бесспорно, эмоциональный опыт имеет ценность, к сожалению, только в определенных и весьма ограниченных обстоятельствах. Тогда сионистская мечта вполне соответствовала израильской действительности - я увидел национальный очаг для еврейского народа, общество справедливости и равноправия, порыв первопроходцев, вдохновенный поиск новых ценностей. Отрицательные аспекты этого начинания проявились только позднее.

* * *

С этого времени борьба евреев, выживших в войне и стремящихся строить свою новую жизнь в Палестине, становилась

все более впечатляющей. Я следил за этой борьбой, принимая все ее перипетии близко к сердцу, и, как многие другие, с горечью переживал трагические события истории, например, Исход.

А однажды я получил возможность в этой борьбе участвовать. Андре Блюмель, прежний руководитель кабинета Леона Блюма, с которым меня связывала дружба, попросил меня помочь ему спасти Лею Кнут, разыскивавшуюся за терроризм. Я охотно выполнил его просьбу и с той поры поддерживаю отношения с этой женщиной, которая теперь ведет тихую жизнь почтенной матери семейства.

День, когда Израиль в мае 1948 года объявил о своей независимости, мы с Алике встретили с радостью в колонне демонстрантов; мы шли по Елисейским Полям рука об руку с госпожой Мендес Франс, которую случайно увидели здесь же.

Евреи всего мира чувствуют себя связанными с судьбой Израиля, его безопасностью, его репутацией. Это государство играет важнейшую роль в нашей способности преодолеть «комплекс еврея», укоренившийся в нас за две тысячи лет антисемистских гонений. Всю свою жизнь еврей несет особый груз, тяжкий груз; он рождается с сознанием, что многие его презирают, что он может услышать унизительные суждения в свой адрес, суждения, оскорбляющие его порядочность, его национальную принадлежность. И не стоит пожимать плечами и говорить, что не нужно обращать внимания на своих недругов, - каждый хочет, чтобы его уважали, принимали, любили, а если выпадет случай, то и восхищались им. Каждый еврей знает, от какой ненависти и от каких преследований страдали его собратья в прошлом и продолжают страдать сейчас, подвергаясь каре за преступления, которых никогда не совершали.

Декларация Независимости Израиля, рождение еврейского государства, появление собственного дома у еврейского народа, конечно, привели к тому, что евреи Палестины обрели национальную независимость, но не они одни - психологически, в душах своих обрели национальную независимость миллионы евреев диаспоры. Они почувствовали себя свободными от некоего врожденного порока, приписываемого им многие века. Евреи и впредь еще будут страдать от обидных проявлений антисемитизма, но отныне ему будет труднее сломить их моральный дух. Мы, евреи диаспоры, гордимся израильтянами, их мужеством, их военной мощью. После веков преследований и унижений перед лицом всего мира утверждаются честь и достоинство евреев. Теперь мы менее уязвимы для неприязни и враждебности, для сомнений в том, как нас воспринимают другие, для страха перед злым роком, который вновь будет нас

преследовать. Израиль - это не наша страна, его знамя - это не наше знамя, но Израиль самим своим существованием освободил основную, глубинную часть нашего «я». И чтобы осознать всю силу наших эмоциональных связей с этим маленьким народом и с тем, что он символизирует, стоит лишь на миг представить себе наши страдания и отчаяние, если Израиль будет уничтожен.

Молниеносная победа, которой закончилась Шестидневная война, коренным образом изменила отношения Израиля с остальным миром. Через несколько дней после этой победы я ужинал с четырьмя пожилыми господами, настроенными весьма реакционно. Они ликовали! Они злились на де Голля, не могли ему простить независимости Алжира, и теперь они, наконец, взяли реванш, отплатили арабам - это помогли им сделать израильтяне! Все средства хороши, чтобы утолить непримиримую ненависть.

Ягненок стал львом, слабый проснулся сильным. Те, кому предрекали самое худшее, вышли победителями, и их победа казалась легкой, красивой и впечатляющей. Евреи, и в особенности израильтяне, встретились с ситуацией абсолютно новой и непредвиденной. Спустя несколько недель после победы в 1967 году приехала в Париж моя сестра Бетсабе, которая живет в Тель-Авиве. Я помню, как она рассказывала:

«Израиль должен незамедлительно уйти с Западного берега Иордана. По двум причинам: во-первых, вот уже две тысячи лет евреи терпят гнет со стороны большинства народов, которые живут в непосредственной близости от них, и мне кажется, что это только навредило бы чести и достоинству Израиля, если бы его армия или его власти сегодня взяли бы на себя ту же роль и выступили угнетателем, против которого неизбежно поднимется волна сопротивления.

И вторая причина. Израиль - это маленькая страна, которая всегда в большей или меньшей степени будет зависеть от Соединенных Штатов или любой другой сильной, индустриально развитой страны. И если однажды Западу надоест враждовать с арабами и он перестанет оказывать поддержку Израилю, то этой стране ничего не останется, кроме как вернуться в свои границы и вновь испытать унижение, о котором его заставила забыть блистательная победа над арабами.

Я бы еще добавила, что если современная мораль и давление общественного мнения не позволили Соединенным Штатам использовать все необходимые средства, чтобы победить Вьетнам, то на что может рассчитывать Израиль?»

* * *

То же самое я сказал Даяну, который воспринял это как

пощечину, и Леви Эшколу - тогдашнему премьер-министру, который в течение часа пытался меня переубедить. Он говорил, что ценит важность моих аргументов, но не может проводить другую политику. Я утверждал, что если хоть один арабский солдат (в тот момент это мог быть только иорданец) проникнет на Западный берег Иордана, достаточно будет единственной израильской части, чтобы восстановить порядок.

Тогда Леви Эшкол, меняя тему разговора, задал мне вопрос: если предположить, что Жорж Помпиду займет место де Голля в Елисейском дворце, последуют ли перемены в политике Франции? Я объяснил ему, почему ни одно французское правительство не сможет изменить свою политику на Ближнем Востоке: нашей стране прежде всего важно поддерживать добрые отношения с правительствами североафриканских стран, чтобы исключить появление враждебных Франции военных баз поблизости от нашего средиземноморского побережья. Когда были опубликованы его посмертные записки, я прочитал об этой части нашей беседы и о том разочаровании, которое он испытал, услышав мои прогнозы. События следующих лет их подтвердили.

Я был настолько убежден, что, продолжая оккупацию правого берега Иордана, Израиль подвергает себя серьезной опасности и наносит вред как своей дипломатии, так и чисто психологически, лишая себя поддержки стран и народов, ранее ему сочувствовавших, что в шутку посоветовал Леви Эшколу заручиться помощью арабского министра иностранных дел, чей пропагандистский талант явно превосходил его собственный талант еврея!

Если бы Израиль решительно вывел свои войска с правого берега Иордана в то время, когда Организация освобождения Палестины (ООП) еще не имела особого влияния, он дал бы всему миру уникальный пример нравственности и высоты духа. Каждый еврей инстинктивно хотел видеть в действиях правительства Израиля пример соблюдения этических норм. Но как бы там ни было, не евреям диаспоры диктовать израильтянам, какую политику им проводить, и только те, чье выживание поставлено на карту, имеют право участвовать в принятии жизненно важных решений, касающихся будущего своей страны.

Леви Эшкол умер через два месяца после нашей встречи. Премьер-министром Израиля стала Голда Меир, которая, при всем уважении к ее добропорядочности и уму, ни на шаг не продвинулась в решении этой проблемы.

Уже в другой раз будучи в Израиле, я присутствовал на обеде в Кнессете, и один парламентарий в своей речи рассказал об инциденте, в ходе которого палестинцы, вторгшиеся на

территорию Израиля, были выдворены. И он добавил с каким-то самодовольством, которое меня ужаснуло: «Это покажет всему миру, как Израиль поступает с арабскими террористами». Я решил ответить ему и после обычных выражений благодарности за прием и комплиментов попросил его также показать миру, как Израиль обращается с арабскими не-террористами. Уходя, я услышал, как этот парламентарий сказал своему соседу: «Я не знал, что Ротшильд - коммунист».

Честно говоря, я тоже этого не знал! Палестинский вопрос - это ужасная головная боль Израиля и - увы! - доказательство того, что оккупировать так же тяжело, как и быть в оккупации. Рекомендовать какое-то решение, когда столько светлых голов ничего не могли придумать, было бы несерьезно и самонадеянно, но как еврей, я очень хочу верить, что Израиль найдет мудрое и благородное решение, не поступаясь собственными жизненно важными интересами. Евреи счастливы, когда Израиль поступает благородно, но, увы, чувствительность не имеет ничего общего с политикой, и это не тот цветок, которому вольготно цвести на берегах Иордана.

* * *

В течение двух тысячелетий евреи возносили молитвы о возвращении в Иерусалим - один из самых прекрасных городов мира. Этот город с незапамятных времен олицетворяет их прошлое, а сегодня, став местом, где находятся правительственные учреждения, став символом демократической власти, Иерусалим олицетворяет национальный суверенитет еврейского народа. Здесь святыня Яд Вашем хранит для вечности память о Холокосте; этот грот, мрачная обнаженность которого одна достойна принять и сберечь память о миллионах жизней, оборвавшихся в муках, страданиях, скорби и ужасе. Мучительное волнение охватывает меня всякий раз, когда *я* там бываю.

Ничто в жизни евреев никогда не проходило гладко; и короткая история государства Израиль не является исключением. Какой еще стране, едва родившись, выпало участвовать и победить в трех войнах за тридцать лет; принять и интегрировать в жизнь общества такое количество эмигрантов, которое пятикратно увеличило его население; создать опирающееся на науку сельское хозяйство и промышленность, одну из самых высокотехнологичных в мире!

За эти несколько лет Израиль сумел преодолеть кризис роста, и из убежища эмигрантов превратился в страну со зрелой демократией, способной вести, порой в очень трудных условиях, мудрую политику сдержанности и терпения.

Теперь от него требуют еще большего - найти такой

необычный взгляд на вещи, который бы оправдал риск отдать свою судьбу, саму возможность выжить в руки агрессивных соседей, положиться на добросовестность тех, кто не перестает вынашивать планы уничтожения Израиля, и когда Израиль не решается это сделать, то встречает только непонимание и раздражение со стороны тех, кто сами никогда не выполняют то, о чем проповедуют.

Надо ли говорить о том, что требования к «избранному народу» должны иметь предел? И эти требования должны учитывать его судьбу.